

801-14
2188

ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ МОРАЛИ.

соч.

Проф. К. Ярошъ.

ХАРЬКОВЪ.

Типографія М. Ф. Зильберберга, Рыбная, № 25.

1888.

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МОРАЛИ.

соч.

Проф. К. Ярошъ.



ХАРЬКОВЪ.

Типографія М. Ф. Зильберберга, Рыбная, № 25.
1888.

Дозволено цензурою. Кіевъ, 8-го Іюня 1887 г.

42162-0



2007334356

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТРАН.
ГЛАВА ПЕРВАЯ.	
Интеллектуализмъ современной школы .	1
ГЛАВА ВТОРАЯ.	
Наука и мораль	31
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.	
Пути нравственнаго совершенствованія .	77
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.	
Графъ Л. Н. Толстой	127
ГЛАВА ПЯТАЯ.	
Государство и общественная нравствен- ность—нравственныя тенденціи рус- скихъ законодательно-административ- ныхъ мѣръ послѣднихъ шести лѣтъ .	181

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Интеллектуализмъ современной школы.

Les pères de famille se sont beaucoup plaints de la maladie du romantisme; mais ceux d'aujourd'hui devraient peut-être la regretter: peut-être vallait-elle mieux que la réaction qui la suivie, que cette soif d'argent, de plaisirs sans idéal et d'ambition sans frein, qui ne me paraît pas caractériser bien noblement la santé du siècle.

George Sand.

I.

Нужны-ли намъ честные люди? Не есть-ли чистота души главное достоинство человѣка?— Вотъ вопросы, въ отвѣтъ на которые современность даетъ наиболѣе яркій примѣръ разногласія слова и дѣла. Всѣ уста единогласно отвѣчаютъ: „да“,—но на дѣлѣ мы видимъ нѣчто иное. Мягкость сердца, благородство чувства, высокій подъемъ духа, и тому по-

добныя „возвышенныя отвлеченности“ останавливаютъ наше вниманіе лишь минутами. Это область, въ которую мы заглядываемъ лишь мимоходомъ, лишь во время остановокъ, въ моменты отдыха отъ настоящей жизни. Это — тема послѣобѣденныхъ разговоровъ, которые случайно возникаютъ и быстро изсякаютъ въ общемъ равнодушіи. Но, въ то время, когда современное человѣчество не отдыхаетъ, а живетъ и дѣйствуетъ, идетъ на проломъ къ осуществленію своихъ цѣлей, когда оно, за неимѣніемъ времени отвлекаться пустыми вещами, дѣлаетъ свое настоящее дѣло, — тогда мы видимъ, что дѣйствительно въ спросѣ и чѣмъ мѣряется достоинство личности. Ловкій умъ, снабженный знаніями тѣхъ или другихъ отдѣловъ науки, — таково качество, которымъ почти до дна исчерпывается современный идеалъ совершеннаго человѣка.

И вотъ, мы видимъ наше юношество на подвигѣ достиженія этого идеала. Отъ самаго молодаго, до вполне зрѣлаго возраста, оно стремится густою толпою по крутой, много-степенной лѣстницѣ образованія. Каждую ступень эта толпа усѣиваетъ отсталыми, изнемог-

шими, и мало по малу рѣдѣетъ, по мѣрѣ восхожденія вверхъ. Грустную картину представляетъ это восхожденіе. Изо-дня въ день десятичасовой утомительный умственный трудъ, изо-дня въ день подъ огнемъ усовершенствованныхъ учебныхъ батарей, осыпающихъ юную рать безконечнымъ градомъ фактовъ, мнѣній, умозаключеній и софизмовъ! Изо-дня въ день гнетущая мысль о завтрашнемъ днѣ, подавляющая горечь неудачи, или смертельный ужасъ передъ крутизной, на которую нѣтъ силъ взойти, не смотря на все напряженіе воли, не смотря на всякаго рода понужденія. Страданія не сосредоточиваются въ руслѣ учащейся молодежи; страданія охватываютъ общество, расплываясь, точно капли дождя по водѣ, расходящимися кругами: горе каждаго юнаго „мученика науки“ сообщается его матери, его семьѣ, роднымъ и знакомымъ этой семьи, и т. д. Но, не смотря на все это, не смотря на то, что сама „наука“, устами нѣкоторыхъ своихъ представителей, начинаетъ заявлять, на всѣхъ европейскихъ языкахъ, опасенія, по поводу „мозговаго переутомленія въ школахъ“ (*surmenage intellectuel dans les écoles*“, „over

pressure at school"),—дѣло идетъ по прежнему, и жертвы продолжаютъ закалываться на жертвенникѣ знанія.

Указывая на эти факты, мы не намѣрены однакоже выступать въ роли „гонителей науки“, или скептиковъ, по отношенію къ значенію знанія, или хотя-бы критиковъ современнаго строя образованія. Въ наши цѣли отнюдь не входитъ отстаивать мракъ и вызывать улыбку удовольствія на пошломъ лицѣ тупаго невѣжества. Мы выражаемъ лишь свое печальное удивленіе, при видѣ столькихъ усилий обогатить умъ, на ряду съ полнымъ равнодушіемъ къ воспитанію сердца, къ поднятію нравственнаго уровня, къ очищенію души. Уже Ж. Ж. Руссо, въ своемъ знаменитомъ „Разсужденіи“, съ негодованіемъ замѣтилъ: „Я нахожу повсюду громадныя заведенія, въ которыхъ за дорогую цѣну образовывается юношество, и учится тамъ всему, кромѣ своихъ обязанностей. Слова: великодушіе, справедливость, умѣренность, человѣчность, мужество, не знакомы вашимъ дѣтямъ; отрадное слово: отечество—для нихъ мертво, и даже поученія о Богѣ не адресуются къ ихъ нрав-

ственному чувству богобоязни, а лишь усваиваются ими по принужденію, изъ страха“. Болѣе ста лѣтъ отдѣляютъ насъ отъ времени, когда написаны были эти слова, но, къ сожалѣнію, едва-ли что-нибудь новое представляетъ современное положеніе вещей. По прежнему крайній интеллектуализмъ проникаетъ весь строй образованія, юныя-же души и сердца оставлены на произволь судьбы; имъ представляется расти и развиваться безъ опоры, безъ руководства, какъ случится. Въ суровыхъ стѣнахъ учебныхъ заведеній напрасно было-бы искать живыхъ, активныхъ факторовъ нравственнаго совершенствованія; здѣсь еди-нодержавно царятъ „науки“, которыхъ смыслъ, связь и назначеніе часто остаются до конца не достаточно обнаруженными; здѣсь передъ нами пестрая масса фактовъ, необъединенная высшими началами, не приведенная въ систему, и предназначенная загромождать голову, безъ всякой возможности освѣтить хотя-бы слабымъ свѣтомъ сердце и волю. Личности самихъ преподавателей и наставниковъ не всегда могутъ оказывать благое моральное воздѣйствіе, потому-что нерѣдко представляютъ собою при-

скорбную группу людей, отуманенных многолѣтнимъ прохожденіемъ учебниковъ и замкнутыхъ въ мертвомъ отправленіи своего педагогическаго ремесла.

Изъ всей богатой гаммы человѣческихъ молодыхъ душевныхъ свойствъ, утилизируются въ школахъ, быть можетъ, только два. Желая обезпечить надлежащую ревность къ прохожденію наукъ, въ юныхъ душахъ будятъ инстинктъ соперничества, дѣлятъ учащихся на разряды и раздуваютъ между ними огонекъ соревнованія. Устраивается своеобразный видъ спорта, нѣчто въ родѣ умственной скачки на призы, гдѣ преуспѣвшій получаетъ возможность удовлетворить своему тщеславію, ставъ „первымъ“ между товарищами. Едва-ли нужно много доказательствъ, чтобы убѣдиться въ нравственномъ недоброкачествѣ этого воспитательнаго орудія. Намъ-ли, людямъ XIX-го столѣтія, желѣзнаго вѣка безпощадной борьбы „каждаго противъ cadaго и всѣхъ противъ всѣхъ“, не знать всю бездну жестокости, скрывающейся подъ словомъ соперничество? Возбуждать соревнованіе значитъ возбуждать борьбу. Сердце, проникнутое духомъ соревнованія,

черствѣетъ въ эгоизмъ; собственный успѣхъ, личное „я“, становится для него центромъ міра, единственнымъ стимуломъ дѣйствій; всѣ окружающіе—уже не товарищи, не ближніе, имѣющіе право на его любовь, сочувствіе и помощь, а соперники, т. е. враги, другими словами,—лица, противъ которыхъ всѣ средства хороши, всѣ козни позволены. Гдѣ одобреніе выпадаетъ на долю не того, кто добросовѣстно, по мѣрѣ силъ, исполняетъ свои обязанности, а лишь того, кто побѣдилъ въ борьбѣ, тамъ нѣтъ мѣста укрѣпленію мирныхъ добродѣтелей, тамъ царитъ законъ войны, тамъ взоры всѣхъ загораются ненавистью, и общимъ девизомъ становится: „горе побѣжденнымъ!“

Полной справедливостью и истиннымъ благородствомъ запечатлѣны предостереженія, которыя даетъ педагогамъ Руссо въ своемъ „Эмилѣ“: „Нужно избѣгать соревнованія, тщеславія, славолубія, всѣхъ этихъ чувствъ, заставляющихъ насъ сравнивать себя съ другими, потому-что эти сравненія никогда не бываютъ безъ примѣси злобы противъ тѣхъ, кто оспариваетъ у насъ превосходство. Разъ въ дѣло пущено соперничество, становится

необходимымъ, или ослѣпляться, или раздражаться, быть глупымъ или злымъ“.

Въ чемъ-же заключается второе воспитательное орудіе нашихъ школъ? Стремясь обезпечить среди учащихся требуемую норму „хорошаго поведенія“, весьма охотно прибѣгаютъ къ строгости, дѣйствуютъ на чувство страха. Общеупотребительностью этой воспитательной методы и объясняется тотъ хмурый, мрачный духъ, который проникаетъ учебныя заведенія и сообщаетъ имъ нерѣдко характеръ учреждений „исправительныхъ“. Не трудно понять, почему система строгости и террора имѣетъ такъ много сторонниковъ между педагогами-практиками. Эта система есть самая *легкая* система. Языкъ суровости доступенъ каждому: даже животныя, лишенные членораздѣльности звуковъ, обладаютъ арсеналомъ весьма внутреннихъ междуметій. Апеллированіе къ страху всегда есть косвенное признаніе, со стороны апеллирующаго, своей духовной несостоятельности. Человѣкъ замыкается на искусственныхъ высотахъ суровой важности, когда боится обнаружить свою слабость, ставши лицомъ къ лицу съ окружающими. Человѣкъ

грозить, когда не можетъ убѣдить. Не имѣя достаточно нравственнаго вліянія, чтобы *вести* свою паству за собой, приходится *натъ* ее силой и страхомъ.

Такъ-же легко уяснить себѣ *результаты* примѣненія воспитательнаго террора. „Страхъ, — говоритъ Бэнъ („Воспитаніе какъ предметъ науки“), — успѣетъ, пожалуй, установить *внѣшній видъ* добраго поведенія, возбудитъ-же *внутреннее чувство* этимъ путемъ невозможно“. Но что представляетъ собою внѣшняя форма добродѣтели, безъ внутренняго соответственнаго чувства?—Ничто иное, какъ лицемеріе. Тартюфъ и Іудушка Головлевъ отличаются отъ истинно религіознаго человѣка именно тѣмъ, что внѣшнія движенія ихъ благочестія не имѣютъ отзвука въ ихъ сердцахъ; тоже самое Пексифъ у Диккенса: пустая, жесткая душа,—и безконечная рѣчь, исполненная восхваленій дружбѣ, филантропіи, готовая найти урокъ морали даже въ тольео-что съѣденномъ бифштексѣ: „бифштексъ исчезъ, такъ исчезнетъ и міръ, — вспомнимъ-же о нашей бренности“, и пр. Такимъ образомъ, школа страха есть школа лицемерія, этого

антипатичнѣйшаго и вреднѣйшаго явленія въ нравственномъ мірѣ, потому-что оно портитъ между, отдѣляющую благородное отъ низкаго, оскверняетъ принципы добра и фальсифицируетъ основные элементы духовной пищи.

Питомцы школы страха, — или „труссы“, или „безукоризненные эгоисты“. Трудно рѣшить, какой изъ этихъ категорій лицъ нужно отдать пальму первенства въ нравственной низменности. Трусъ не рѣдко таитъ въ глубинѣ своей души бездну злобы и жестокости; это замѣчается даже между животными: натуралисты утверждаютъ, что носорогъ страшно свирѣпъ именно потому, что трусливъ. Слѣдовательно, присутствіе въ обществѣ этого разряда трусовъ составляетъ скрытую язву, грозящую постоянно обнаружиться во всемъ ужасѣ своей злобачественности. Едва-ли менѣе вредны, такъ называемые, „забитые люди“, трусы всецѣлые, трусы до дна своей души: благодаря имъ, общество принимаетъ характеръ безличной, инертной массы, лишонной инициативы и устойчивости, и служащей пріятнѣйшей средой для всякаго рода нахаловъ. Что-же касается названныхъ выше „безукоризненныхъ эгоистовъ“,

то лучшее ихъ изображеніе далъ Тургеневъ, въ одномъ изъ своихъ „Стихотвореній въ прозѣ“. Это лица, ловко приспособившіяся къ требованіямъ обыденной морали, и съумѣвшія согласить повиновеніе буквѣ этихъ требованій съ полнымъ просторомъ своихъ аппетитовъ; ихъ честность подавляетъ всѣхъ, ихъ честность — капиталъ, съ котораго они получаютъ ростовщическіе проценты; ихъ честность горда своей безупречностью и не знаетъ пощады никому; она знаетъ только себя и окружена со всѣхъ сторонъ, сверху и снизу, сзади и спереди, только сама собою. Словомъ, заключаетъ съ благороднымъ негодованіемъ Тургеневъ, — это изверги добродѣтели, едва-ли не болѣе отвратительные, чѣмъ откровенное безобразіе порока!...

II.

Изъ сказаннаго видимъ всю нищету, всю убогость заботъ, посвящаемыхъ обыкновенно дѣлу культуры души. Всѣ заняты развиваніемъ, наполненіемъ, даже переполненіемъ ума, и очень мало вниманія къ тому, чтобы не во-

царялись пустота и кривда въ сердцѣ. Не объясняется-ли все это убѣжденіемъ, что развитой умъ самъ направить какъ слѣдуетъ волю, что знанія, обогащающія разумъ, тѣмъ самымъ освѣщаютъ душу, что науки, содѣйствуя интеллектуальному совершенствованію человѣка, съ тѣмъ вмѣстѣ, поднимаютъ и его нравственный уровень? Можетъ быть. Хотя нѣтъ убѣжденія, которое-бы чаще опровергалось фактами прошедшаго и настоящаго, фактами крупными и мелкими. Примѣры, разби- вающіе въ куски это мнѣніе, представляются въ поразительномъ обилии. Оставимъ въ сто- ронѣ знаменитую, часто вспоминаемую въ по- добныхъ случаяхъ, личность Бэкона. Онъ-ли одинъ соединялъ великій умъ и богатство зна- ній, съ душой, способной къ подкупу, любо- стяжанію и пр.? Далеко нѣтъ. Мы съ грустью должны сознаться, что много людей, которыхъ называютъ просвѣтителями человѣчества, от- личались отнюдь не величественными чертами своего моральнаго облика. Поистинѣ жутко читать различныя „записки“ и „мемуары со- временниковъ“, изображающія нѣкоторыхъ зна- менитыхъ дѣятелей умственной жизни человѣ-

чества. Неужели это тѣ люди, которые счи- таются свѣточами человѣчества, и мысль о которыхъ невольно побуждаетъ насъ гордиться нашимъ человѣческимъ достоинствомъ? Конечно, „современники“ могутъ быть несправед- ливы. Личные счеты, соперничество, безотчет- ныя симпатіи и антипатіи, — все это можетъ исказить рисунокъ, ослаблять или усиливать краски. Но уже слишкомъ достаточно, если мы предположимъ въ этихъ свидѣтельствахъ хотя-бы половину, даже десятую долю правды... Возьмемъ описаніе французскихъ философовъ XVIII вѣка въ мемуарахъ Таллейрана. О ве- ликомъ д'Аламберѣ читаемъ: „Цѣлый вѣкъ свой крича о тщетѣ дворянскаго происхожде- нія и титуловъ, онъ не согласился однако-же остаться на всю жизнь съ именемъ Жана Ле- рона, которое далъ ему при крещеніи свя- щенникъ; сперва онъ назвался Даламберомъ, потомъ прибавилъ частицу „де“, и, наконецъ, сдѣлался д'Аламберомъ. Онъ завидовалъ Вольтеру и царапалъ его, лаская; въ тихомолку онъ старался вредить Дидро, котораго слава колола ему глаза“. О талантливомъ Дидро: „Онъ былъ горячій и задорный крикунъ, зѣва-

ющій при чтеніи всѣхъ произведеній, исключая своихъ“. О многоученомъ Гольбахѣ: „Проповѣдуя равенство, онъ дюжинами сажалъ своихъ крестьянъ въ тюрьму, мучая ихъ до того, что многіе бѣжали изъ его земель, отыскивая господина, который былъ-бы менѣе „другомъ людей“. О Вольтерѣ: „При посѣщеніи его въ Фернеѣ, я замѣтилъ въ передней одно изъ лучшихъ произведеній Корреджіо, преданное на забаву лакеямъ, тогда какъ въ гостинной висѣла самая скверная картина, напоминающая вывѣску: эта картина изображала триумфъ Вольтера“. Какъ? Значитъ „великіе энциклопедисты“ были не болѣе, какъ мелкіе завистники? Пошлые люди?... Прибавимъ два слова, касательно мнѣній современниковъ о Шатобрианѣ, котораго стихотворенія полны поэзіи, романы—возвышеннаго пессимизма, а знаменитый „Genie du Christianisme“—захватывающаго и увлекательнаго религіознаго пыла. Наполеонъ I сказалъ: „Для меня затруднительно—не купить Шатобриана, а заплатить ту сумму, въ которую онъ себя цѣнитъ“. М-ме де-Ремюза, сохранившая въ своихъ мемуарахъ приведенное изреченіе, въ свою оче-

редь замѣчаетъ: „Шатобриана гораздо пріятнѣе читать, чѣмъ вести съ нимъ личное знакомство“.

Если мы оставимъ давнопрошедшее, съ болѣею или меньшею сомнительностью сохранившихся о немъ свидѣтельствъ, если мы оставимъ отдѣльныя личности и обратимся къ временамъ болѣе близкимъ и къ цѣлымъ группамъ лицъ, связанныхъ общимъ дѣломъ изученія наукъ, то и здѣсь, къ сожалѣнію, найдемъ не мало примѣровъ разлада между областью знанія и сферой морали.

Въ одной изъ прошлогоднихъ книжекъ „Séances et travaux de l'acad. des sc. mor. et pol.“, есть небольшая статья о Росси (имя, извѣстное въ наукахъ политической экономіи, уголовного и государственнаго права). Въ этой статьѣ, рассказывающей исторію службы Росси въ парижскомъ Юридическомъ факультетѣ, довольно рельефно выступаетъ нравственный обликъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ. При вступленіи въ факультетъ, Росси встрѣтилъ непріязненное, грубое противодѣйствіе со стороны профессоровъ. Быть можетъ представители науки не признавали ученыхъ заслугъ

Росси? Быть может они боялись, чтобы храмъ науки не былъ оскверненъ вступленіемъ невѣжды?—Нисколько. Все противудѣйствіе обусловливалось тѣмъ, что Росси былъ назначенъ на должность министромъ Гизо. При открытіи курса новымъ профессоромъ, студенты враждебно кричали: „à la porte l'étranger“! и такъ какъ Росси говорилъ съ итальянскимъ акцентомъ, то студенты иронически требовали: „parlez français“! Гизо, упоминая въ своихъ запискахъ объ этихъ грубыхъ выходкахъ, замѣчаетъ, что манифестаторы дѣйствовали въ угоду своимъ профессорамъ. Поистинѣ тяжелое зрѣлище! Жрецы науки апеллируютъ къ темнымъ волнамъ малокомпетентной толпы и наслаждаются музыкой ея малосмысленныхъ криковъ!... Впрочемъ, изъ той же статьи замѣчаемъ, что нравственная личность самого Росси не была выше общаго уровня среды. Многосторонній ученый относится небрежно къ обязанностямъ; на экзаменахъ пропускаетъ кого попало, чтобы только не видѣть больше „cette figure-là“. Онъ даже удивляется, если видитъ въ комъ-либо аккуратность: „Вы читаете студенческія сочи-

ненія?! O, vous êtes un brave homme“! Онъ грубъ въ отношеніяхъ съ лицами, зависящими отъ него: одинъ докторантъ, въ почтительныхъ, заранѣе приготовленныхъ выраженіяхъ просилъ разрѣшенія посѣщать лекціи (une carte d'auditeur bénévol); Росси молча позволилъ и сказалъ вошедшему чиновнику: „Qu' on donne une carte à cet individue“. А cet individue! Кто сочтетъ подобныя выраженія умѣстными въ устахъ представителя науки?... Наконецъ, получивъ дипломатическую должность въ Римѣ, Росси продолжалъ упорно, несмотря на дѣлаемые ему намеки, получать свое профессорское жалованье... Мы не будемъ продолжать и комментировать этотъ легкій эскизъ поучительной жанровой картины.

Нельзя сказать, чтобы ученый міръ „класической страны науки“, Германіи, исключалъ возможность проявленія подобныхъ же чертъ моральной сомнительности. Достаточно вспомнить знаменитую университетскую исторію Дюринга (имя, извѣстное въ наукахъ математики, философіи и политической экономіи). Сочиненія Дюринга переполнены жалобами на постоянныя гоненія со стороны про-

фессоровъ. Эту враждебность ученой коллегіи онъ объясняетъ, во первыхъ, ея нетерпимостью по отношенію къ его независимому характеру, во вторыхъ, завистью, которую возбуждало его умственное и научное превосходство у лицъ одной съ нимъ специальности, наконецъ, — кумовствомъ, nepотизмомъ, и вообще цеховымъ, кастическимъ строемъ профессорскаго быта. Въ интригахъ, прибавляетъ Дюрингъ, принимаютъ участіе даже профессорскія дамы (напр. г-жа Гельмгольцъ). Какъ бы скептически ни относиться ко всѣмъ такимъ свидѣтельствамъ, все же намъ не можетъ не казаться страннымъ, что факультетъ отказывалъ Дюрингу въ кафедрѣ по разнымъ, весьма пустымъ причинамъ: то подъ предлогомъ незрѣлости (сорокалѣтняго, самостоятельнаго ученаго), то потому, что онъ слѣпой, не можетъ самъ читать и писать и слѣдовательно, долженъ будетъ сообщать постороннему лицу тайны факультета. Въ комъ не вызоветъ сомнѣнія эта удивительная незрѣлость сорокалѣтняго и эти забавныя канцелярскія тайны факультета!... Однако же, спѣшимъ прибавить, личность самого Дюринга

относительно не изъ тѣхъ, которыя вызываютъ восторгъ и умиленіе. Его произведенія дышатъ чудовищнымъ самохвальствомъ. Судя по его словамъ, онъ одинъ въ настоящее время „дѣйствительный философъ“; всѣ труднѣйшіе вопросы разрѣшены имъ окончательно и оригинально; онъ никогда не дѣлаетъ ссылокъ, потому-что не на кого ссылаться: всѣ „продажные шарлатаны“, „нравственно испорченные жрецы втораго сорта“, и т. д. Тренденбургъ — „засушенный аристотеликъ, схоластическая импотенція, логическая мозаика и компиляторная логика“. Объ извѣстномъ Э. Гартманѣ упоминается, въ большомъ учебномъ сочиненіи, такъ: „Изъ лона современнаго испорченнаго общества возникаютъ явленія въ родѣ—*der Mordpäderast Maler von Zastrow und der Reclamaphilosophast Eduard von Hartmann, von denen jeder in seiner Art die Aufmerksamkeit des Publicums zu erregen verstanden hat. Der Eine hat die Thatsachen geliefert und der Andere das intimere Verständniss dafür mit einer „Philosophie des Unbewussten“ eröffnet*“. (См. „Филос. дѣйств.“

пр. Козлова). Вотъ геркулесовы столбы злобы и нравственнаго одичанія.

Не будемъ искать соотвѣтственныхъ фактовъ въ Англіи. Повѣримъ на слово опытности Гартли, который говоритъ: „Едва ли ктонибудь можетъ превзойти чванство, соперничество и зависть, встѣчаемая между выдающимися учеными филологіи, математики, естествознанія и даже богословія“.

Быть можетъ, міръ людей науки у насъ, въ Россіи, составляетъ блистательное исключеніе, и даетъ менѣе примѣровъ печальнаго зрѣлища. Но все-же, вѣроятно, и здѣсь можно отыскать факты, аналогичные съ приведенными выше. И здѣсь есть лица, заплывшія до безчувствія въ собственномъ благополучіи, или измученные въ конецъ видомъ чужихъ удачъ; и здѣсь есть *Θεμιστοκλῆς*, которымъ мѣшаютъ спать мильтіадовы лавры; есть люди, которымъ ихъ знанія не мѣшаютъ быть человѣконенавистниками, и радоваться всякой возможности впустить въ существованіе ближняго хоть каплю отравы; есть люди, которыхъ либерализмъ дышетъ страстнымъ деспотизмомъ, и которыхъ свободолобіе брызжетъ яростной

пѣной нетерпимости. Вѣроятно, не одинъ человекъ, подышавшій атмосферой, наполненной висящими въ воздухѣ „научными данными“, опрокинутыми внизъ головой принципами и въ тунѣ звучащими политико-нравственными сентенціями, — воскликнулъ отъ глубины души:

O Ciel, que de vertus vous me faites haïr!

Въ параллель приведеннымъ примѣрамъ сочетанія знаній съ нравственной низменностью, каждый изъ насъ можетъ припомнить случаи обратныхъ сочетаній. Бываютъ люди, не претендующіе на обладаніе богатымъ капиталомъ знаній, не имѣющіе даже дипломовъ, свидѣтельствующихъ о прохожденіи ими наукъ, но которые, съ тѣмъ вмѣстѣ, являютъ собою возвышенный образъ душевнаго благородства. Они не поражаютъ блескомъ своего ума, но согреваютъ насъ лучами своей сердечной теплоты. Исторіографъ Карамзинъ, будучи въ Парижѣ, весьма много слышалъ объ одномъ носильщикѣ, который цѣлые дни трудился, спалъ подъ открытымъ небомъ, но постоянно подавалъ милостыню и дѣлился послѣднимъ кускомъ съ нуждающимися. Однажды, — расска-

зываютъ „Письма русскаго путешественника“, — химикъ Л. спросилъ у него:

— Счастливъ ли ты, добрый человѣкъ?

— Думаю, — отвѣчалъ носильщикъ-филантропъ.

— Въ чемъ состоятъ твои удовольствія?

— Въ работѣ, въ отдыхѣ, въ безопасности.

— Прибавь еще: въ благодѣянiяхъ. Я знаю, что ты дѣлаешь много добра.

— Какого?

— Подаешь милостыню.

— Отдаю лишнее...

— Читаешь ли ты книги?

— Не имѣю времени.

— Бываетъ ли тебѣ скучно?

— Я всегда занятъ.

— Не завидуешь ли кому?

— Я доволенъ собою.

— Ты истинный мудрецъ.

— Я человѣкъ.

— Я бы желалъ твоей дружбы.

— Всѣ люди мои друзья.

— Есть злые.

— Такихъ не знаю.

Вотъ философія, которая не опирается на

книги, — ихъ „некогда читать“, но вытекаетъ изъ сердца и обращаетъ всю жизнь человѣка въ непрерывный подвигъ любви и благочестія.

III.

Исходя изъ такихъ и имъ подобныхъ фактовъ, мы не можемъ не относиться съ неодобрѣніемъ къ исключительному интеллектуализму нашего многокнижнаго вѣка. Какъ бы предъугадывая будущее, Ж. Ж. Руссо говоритъ въ „Эмилѣ“: „Одно изъ крупныхъ заблужденій заключается въ томъ, что пускаютъ въ ходъ одинъ сухой рассудокъ, какъ будто у людей ничего нѣтъ, кромѣ ума. Рассудокъ самъ по себѣ не дѣятеленъ; онъ тормозитъ иногда, рѣдко возбуждаетъ и никогда ничего великаго не производитъ. Вѣчно рассуждать — манія мелкихъ умовъ; у сильныхъ душъ есть другой языкъ и этимъ то языкомъ убѣждаютъ и заставляютъ дѣйствовать“. Болѣе ста лѣтъ спустя, мысли Руссо повторены съ новой силой, въ новомъ „Эмилѣ“, авторомъ хотя и не столь даровитымъ, но все же весьма выдающимся и популярнымъ. Од-

на изъ ошибокъ воспитанія, — говоритъ Эскиросъ, — состоитъ въ томъ, что вообще имѣютъ въ виду однѣ лишь умственныя способности. Въ погонѣ за разсудочностью, мы, положительные мѣщане, передаемъ наши понятія и привычки подрастающимъ поколѣніямъ. Какovy же будутъ результаты? Что принесутъ съ собою наши зеленѣющія нивы? Я — замѣчаетъ отецъ новаго Эмиля — съ ужасомъ спрашиваю себя, чѣмъ будутъ современемъ эти молодые старички, у которыхъ еще не выпали молочные зубы, но которые уже лишены иллюзій. Мы слышимъ постоянно о распространеніи знаній и, конечно, радуемся этому; но можемъ ли мы, вмѣстѣ съ этимъ, похвалиться большею энергіей инициативы, большимъ обиліемъ твердо очерченныхъ характеровъ, большею чистотою душъ? Полезны знанія, но они еще не составляютъ всего, велика наука съ ея объясненіями тайнъ природы, но ея одной недостаточно... Въ произведеніяхъ искусства, въ грезахъ поэта, есть кое-что, чего нѣтъ въ природѣ. Ихъ „герои“ не тождественны съ мужчинами и женщинами дѣйствительнаго общества, ихъ не встрѣ-

тишь ни въ гостинныхъ, ни на улицѣ. Но тѣмъ болѣе причинъ, говоритъ Эскиросъ, чтобы не изгонять ихъ изъ дѣтскаго рая. Сохраните имъ мѣсто у нашего очага. Кто бы они ни были, гени, феи, герои, существа воображаемаго міра, изъ-за которыхъ билось наше дѣтское сердце, которому они открыли прелесть добра, — пусть не исчезаютъ они въ атмосферѣ вѣка, который заразили своекорыстіе и расчетъ, подъ маской здравой разсудочности и трезвой науки. Конечно, нравственныя чувства существуютъ въ каждомъ ребенкѣ, — но только въ зародышѣ. И растительный міръ наполненъ сѣменами, изъ которыхъ многимъ однако не суждено разцвѣсть. Чего не достаетъ имъ? — Луча солнца, хорошей почвы, капли воды...

Не такъ давно одинъ литераторъ, въ одномъ изъ лучшихъ нашихъ журналовъ, съ чувствомъ удовольствія указывалъ на то, что наука начинаетъ приходить на помощь нашему нравственному запустѣнію, что появляются сочиненія по этикѣ, и пр. Однако, такія „знаменія времени“ еще не вызываютъ у насъ особенно радостнаго чувства. Появленіе нѣ-

сколькихъ новыхъ книгъ, доказывающихъ, что дурное дурно, даже учрежденіе, предположимъ, особой кафедры въ учебныхъ заведеніяхъ для преподаванія нравственнаго ученія, мало помогутъ дѣлу. „Нельзя, — цитируемъ еще разъ „Эмиля XIX вѣка“, — образовать характеръ словами. Развѣ такъ называемые „черствыя люди“ не слышали сентенцій о прелести дружбы? Какому развратнику, скупцу или злодѣю не повторяли тысячу разъ: „будь цѣломудренъ, не дѣлай другому того, чего не желаешь себѣ“, и пр.? Евангеліе полно превосходными поученіями, но многіе ли соблюдаютъ ихъ? Не только у христіанъ, но и у индусовъ, китайцевъ и персовъ есть книги высокой мудрости. Однако же, нравственнѣе ли оттого эти народы? Если бы для исправленія людей достаточно было хорошаго трактата по этикѣ, то уже давнымъ давно человѣческій міръ былъ бы образцомъ нравственнаго совершенства, потому что у насъ, благодаря Бога, нѣтъ недостатка въ моралистахъ. И не смотря на все, мы только и слышимъ со всѣхъ сторонъ земли, что плачь и скрежетъ зубовъ“. Добродѣтель не можетъ быть преподаваема, добро-

дѣтельно, какъ и порокомъ, можно только заражать. Мы будемъ говорить объ этомъ въ слѣдующихъ главахъ, теперь же мы еще разъ вернемся къ нашему удивленію передъ фактомъ равнодушія педагоговъ къ дѣлу воспитанія души.

Это равнодушіе тѣмъ удивительнѣе, что господствующій типъ современной школы есть классическая школа. Какимъ же образомъ наши классики игнорируютъ главные завѣты классическаго міра? Чему были отданы главные заботы представителей духовной жизни древней Эллады и Рима? Что составляетъ излюбленную тему произведеній Платона и Аристотеля? Именно — воспитаніе человѣческаго сердца и характера. Въ ученіяхъ Платона о морали и политикѣ, передъ нами очерчивается земной міръ, „міръ явленій“, охваченный трепетнымъ, восторженнымъ порывомъ въ высъ, къ возвышеннымъ сферамъ „міра идей“, міра типовъ совершенства, царства вѣчной красоты и вѣчнаго блага. Здѣсь человѣкъ, осуществляя смыслъ своей жизни, стремится къ одному, — стремится водворить въ своей душѣ гармоническій порядокъ, по-

добный высшему міровому порядку, стремится сдѣлать свое сердце чистымъ сосудомъ добродѣтели, этой высшей драгоцѣнности, которая обусловливаетъ собою достоинство человѣческой личности и приближаетъ ее къ Богу, послѣднему идеалу абсолютнаго добра. Аристотель, не смотря на свой (часто преувеличиваемый) „эмпиризмъ“, не далеко расходится съ Платономъ. Для него также воспитаніе человѣка имѣетъ одну главную цѣль— добродѣтель, возвышенный строй души, вверхъ устремленную тенденцію сердца; накопленіе знаній, занятія практически полезнымъ для жизни, имѣютъ свое значеніе, но основная забота есть забота о возженіи въ людяхъ свѣточа красоты и добра. Одинъ знаменитый представитель духовной жизни древности, Маркъ Аврелій, вспоминаетъ свои учебные годы въ извѣстныхъ комментаріяхъ, — „quos ipse sibi scripsit“. Чѣмъ же памяты для него остались эти годы? Перечисляетъ ли онъ тѣ свѣдѣнія, которыя были ему сообщены? Перебираетъ ли онъ спутанный клубокъ отрывочныхъ историческихъ именъ, сомнительно доказанныхъ математическихъ теоремъ и раз-

давленныхъ исключеніями грамматическихъ правилъ?— Вовсе нѣтъ. Всѣ параграфы первой книги названныхъ „комментарій“ наполнены такимъ благодарственнымъ перечнемъ: „Моему воспитателю я обязанъ способностью переносить усталость, умѣрять потребности, обходиться безъ чужихъ услугъ и не склонять ухо къ доносамъ. Диогенету я обязанъ привычкой не придавать значенія пустякамъ, выносить правдивость и прямоту. Рустикъ научилъ меня избѣгать искусственности въ жизни, въ дѣятельности и въ писаніи; не довольствоваться половиннымъ пониманіемъ того, что я читаю. У Аполлонія я выучился сохранять свободу и твердость духа; въ немъ, какъ въ живомъ примѣрѣ, я позналъ возможность назидательности, соединенной съ снисходительностью, возможность наставленій, безъ сухой суровости. У Секста я научился понимать благожелательность и выносить чужой гнѣвъ съ его необдуманнми выходками. У Катула я научился чуткости къ жалобамъ ближняго. У Максима я приобрѣлъ привычку быть господиномъ самого себя и не впадать, ни въ уныніе, ни въ сомнѣніе“. И т. д.

Спрашивается, кто же изъ насъ, прошедшихъ съ бѣльшимъ или меньшимъ успѣхомъ, многолѣтній искусъ въ школахъ различныхъ наименованій и ранговъ, можетъ похвалиться такимъ итогомъ и подобными воспомина- ниями? Увы, наша учебная юность лежитъ въ нашемъ прошедшемъ голой пустыней, безъ образовъ живыхъ людей и безъ теплоты жи- ваго слова.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Наука и мораль.

Les Grecs nous ont légué un des plus beaux mots de notre langue, le mot enthousiasme: Un Dieu intérieur!... Heureux celui, qui porte en soi un dieu, un idéal de la beauté et qui lui obéit: idéal de l'art, idéal de la science, idéal de la patrie, idéal des vertus de l'Évangile! Ce sont là les sources vives des grandes pensées et des grandes actions.

Pasteur.

II.

Бъ вопросамъ, наиболѣе труднымъ и сложнымъ, относятся, конечно, и вопросы объ общественной нравственности, о средствахъ поднятія ея уровня, о воспитаніи души. Мы разумѣемъ не только воспитаніе дѣтей и юношей, но и вообще человѣка, потому-что люди воспитываются всю жизнь, до послѣдней старости, до гробовой доски, пока только ихъ умъ и

сердце сохраняютъ способность думать, чувствовать, любить и ненавидѣть. Въ предъидущей главѣ мы приводили примѣры сочетаній многознающаго ума съ малоцѣннымъ сердцемъ, но этихъ примѣровъ еще не достаточно. Указаніемъ отдѣльныхъ примѣровъ извѣстнаго ряда рѣдко рѣшается дѣло, потому-что всегда почти могутъ быть приведены примѣры другаго, противоположнаго характера. Слѣдовательно, необходима большая глубина изслѣдованія, для разъясненія вопроса о соотношеніи областей знанія и нравственности. Такое разъясненіе весьма важно именно въ наше время, проникнутое вѣрой во всемогущество науки.

Русская философская литература воспроизводящая, болѣе или менѣе точно, западныя вѣянія, имѣетъ достаточно представителей упомянутой вѣры. Мы остановимся, для примѣра, на одномъ изъ новѣйшихъ (хотя и не важномъ по внутренней цѣнности) сочиненіи, именно на книгѣ г. де-Роберти: „Прошедшее философіи“. Возставая противъ писателей, которые рекомендуютъ современному человѣку заняться нравственной очисткой своей души, г. де-Роберти говоритъ: „Всякіе призывы къ подъему

личной психической жизни, къ исправленію индивидуальнаго типа—исторія доказала это сотни разъ — бесплодны, какъ древній вавилонскій плачъ, бесплодны, часто, даже въ смыслѣ личнаго исправленія“. Конечно, безцеремонное обращеніе съ историческими фактами не рѣдкость, но все-же насъ удивляетъ приведенная ссылка. Намъ кажется, что призывы къ подъему личной нравственности, со стороны такъ называемыхъ „философій характера“ древности, едва-ли можно считать бесплодными. Философы этой эпохи были не столько преподавателями отвлеченной мудрости, сколько наставниками и духовниками людей, искавшихъ нравственнаго умиротворенія и руководства. Благодаря вліянію этихъ духовниковъ, образовались многія морально-крупныя личности. Это вліяніе замѣтно и въ политикѣ. Слово „мудреца“ смягчало бури общественныхъ неурядицъ и проливалось врачующій бальзамъ на бѣды частной жизни. Всякое смущенное и удрученное сердце искало и находило опору въ нравственномъ общеніи съ уважаемыми наставниками. Даже предъ лицомъ смерти, — какъ это десятки разъ изображаетъ „книга

великихъ смертей“, — лѣтопись Тацита, — даже разставаясь съ жизнью, люди цѣнили свою духовную связь съ учителемъ, и умирали, со взглядомъ любви и благодарности, обращеннымъ къ философу.... Едва-ли можно игнорировать подобные факты. Едва-ли можно говорить, будто исторія доказываетъ бесплодность призывовъ къ нравственному возрожденію, когда мы имѣемъ въ нашемъ прошедшемъ исторію распространенія христіанства. Развѣ влечь, раздавшійся на берегахъ Іордана, затерялся въ пустыняхъ Іудеи? Призывъ, разнесенный въ разныя стороны скромными „рыбарями“, охвачилъ всѣ страны древняго міра, и быстро одержана была безкровная побѣда, о которой Шатобрианъ краснорѣчиво сказалъ: „*cette conquête, due aux larmes des vainqueurs, ne compte pas une larme aux vaincus*“.

Оставимъ, въ силу сказаннаго, сомнительныя ссылки на исторію и зададимся вопросомъ: гдѣ-же спасеніе? Откуда ждать леченія моральныхъ золъ? — „Выходъ изъ современнаго кризиса, — отвѣчаетъ г. де-Роберти, — можетъ быть найденъ единственно и исключительно на пути дружнаго напряженія всѣхъ силъ

знанія, и только знанія, съ цѣлью построенія міропониманія, которое-бы соответствовало *нынѣшнему* состоянію этого знанія, и которое только тогда и успокоитъ отдѣльную личность, и подниметъ ее на нужную этическую высоту“. Въ этихъ строкахъ полагается основаніемъ желательнаго „научнаго“ міропониманія капиталъ знаній настоящаго времени; но здѣсь очевидное недоразумѣніе, потому-что г. де-Роберти отрицаетъ всякое достоинство за этимъ капиталомъ, относясь весьма презрительно къ прошедшему и настоящему науки. О прошедшемъ онъ говоритъ: „Передъ судомъ строгой критики всѣ безъ различія метафизическія (т. е., по его терминологіи, всѣ прежнія, не позитивно-философскія) построенія превращаются въ арлекинскій костюмъ; всѣ они оказываются состоящими изъ лоскутковъ разнороднаго знанія, которымъ болѣе или менѣе искусно задрапировывается общій всѣмъ имъ „болванъ“ всеобъемлющей и потому ничего не содержащей въ себѣ гипотезы“. Мнѣніе г. де-Роберти о нынѣшней наукѣ обнаруживается въ слѣдующихъ его положеніяхъ: „Точная философія, подобно источнику ея, точной наукѣ,

можетъ быть лишь результатомъ непрерывныхъ усилій длиннаго ряда (конечно — *будущихъ*) поколѣній... Мы убѣждены въ томъ, что только по пути спокойнаго, чтобы не сказать покорнаго, слѣдованія по пятамъ спеціальнаго знанія и его не торопливыхъ обобщеній, можетъ, наконецъ, быть достигнуто реальное единство явленій, или полное и ясное пониманіе ихъ общей связи между собою (т. е. надлежащее міропониманіе, столь далекое отъ „нынѣшняго — какъ выражается нашъ авторъ — міропониманія“). Вся эта *истинная философія* „должна вырости изъ данныхъ, которыя сами пока отличаются *крайней новизною* и частью полнѣйшей неразработанностью“; „философіи еще *предстоитъ* почерпнуть свое начало и свои коренныя силы изъ родниковъ и источниковъ, которые не могли сослужить ей этой службы по нынѣ уже потому, что главнѣйшіе изъ нихъ (соціологія и психологія) и *теперь* находятся въ процессѣ медленнаго образованія“.

Въ итогѣ этихъ разсужденій мы видимъ, что поднятіе нравственнаго уровня можетъ быть произведено міропониманіемъ, основаннымъ на

точномъ знаніи, имѣющемъ накопиться трудомъ длиннаго ряда поколѣній позитивныхъ ученыхъ. Но какъ-же быть уже существующему, настоящему обществу, и теперь живущимъ людямъ? — Къ сожалѣнію, имъ придется обождать, потому-что наука еще не готова. Если-же мы не можемъ проникнуться равнодушіемъ къ нынѣшнимъ моральнымъ бѣдамъ, если мы не въ силахъ усмирить наше сердце въ его порывахъ къ лучшему, не можемъ успокоиться на мысли, что черезъ нѣсколько столѣтій послѣ нашей смерти, положительная наука соберется съ силами и покончитъ съ царствомъ зла на землѣ, — въ такомъ случаѣ, позитивный философъ не найдетъ намъ въ утѣшеніе инаго отвѣта, кромѣ слѣдующаго: „вините вашу судьбу, судившую вамъ родиться слишкомъ рано, именно въ то время, когда О. Контъ, Г. Спенсеръ, г. де-Роберти и др. положили только первые камни будущаго благополучія“.

Не ограничиваясь сказаннымъ, рассмотримъ ближе надежды представителей позитивной науки на будущее. Прежде всего, мы не можемъ отрицать весьма пріятнаго впечатлѣнія,

которое производить на насъ эти надежды. Видя молодое направленіе испытующей мысли, устремленное впередъ, съ задоромъ юной увѣренности, мы ощущаемъ въ себѣ невольный приливъ душевной бодрости. Когда новая ученая секта провозглашаетъ съ свѣжей энергіей и вѣрой: „Теперь только отъ науки услышимъ мы слово откровенія и это слово вновь обновитъ нашу землю, — привѣтствуемъ тебя, рождающійся міръ!“ *) мы испытываемъ сильное ощущеніе, точно могучая волна охватываетъ насъ и приподнимаетъ вверхъ. Мы даже раздѣляемъ увѣренность, что наука, вооруженная лучшими методами, сдѣлаетъ полезное дѣло, и что, передъ ея напоромъ, дрогнутъ многія твердыни тайнъ природы. Однако же, знакомые съ исторіей человѣческой мысли, видѣвшіе въ этой исторіи зарожденіе многихъ ученій, начинавшихъ свою жизнь съ не меньшей отвагой, мы отвѣчаемъ сомнѣніемъ на черезъ чуръ широкія обѣщанія представителей положительной науки, на обѣщанія ихъ возродить міръ, завоевать человѣчеству счастье, истребить зло, и пр. По пово-

*) Выраз. Э. Нозля.

ду подобныхъ обѣщаній, вспоминается само собою одно мѣсто изъ „Записокъ“ Пирогова. „Направленіе истины, — говоритъ Пироговъ, — излюбленное передовыми умами, а за ними и цѣлымъ обществомъ, всегда временно, и, отживъ свой срокъ, уступаетъ мѣсто другому, нерѣдко совершенно противоположному. Я прожилъ только семьдесятъ лѣтъ, — въ исторіи человѣческаго прогресса это одинъ мигъ, — а сколько уже пережилъ я системъ въ медицинѣ и въ дѣлѣ воспитанія! Каждое изъ этихъ проявленій односторонности ума и фантазіи примѣнялось по нѣскольку лѣтъ на дѣлѣ, волновало умы современниковъ и сходило потомъ съ своего пьедестала, уступая его другому, не менѣе одностороннему. Теперь, при каждой новой системѣ, я могъ бы сказать тоже, что отвѣтилъ одинъ старый чиновникъ Подольской губерніи на вопросъ новаго губернатора: „Сколько лѣтъ служите“? — „Честь имѣлъ пережить уже двадцать начальниковъ губерніи, ваше превосходительство“!

Когда наука задается цѣлью изучать законы природы, складъ общежитія и свойства человѣческаго существа, мы горячо привѣт-

ствуемъ ея начинанія и рукоплещемъ ея успѣхамъ. Но, когда положительная наука выражаетъ намѣреніе создать положительную систему морали и права, мы не можемъ не заявлять своего протеста, такъ какъ мы ясно видимъ, что тутъ наука выходитъ изъ своей сферы и хочетъ узурпировать совершенно чуждую ей область. Территорія, на которой наука можетъ дѣйствовать, есть область фактовъ существующаго и существовавшаго; вопросы, на которые она можетъ отвѣчать, формулируются только слѣдующимъ образомъ: какъ связаны между собою явленія дѣйствительности, и какъ они выступаютъ одно за другимъ и одно изъ другаго? Въ предѣлахъ же нравственности основной вопросъ заключается не въ томъ, какъ и что *существуетъ* на свѣтѣ, а въ томъ, какъ и что *должно* существовать? Законы научные суть ничто иное, какъ обобщенія наблюдений, дѣлаемыхъ надъ фактами настоящей и прошедшей дѣйствительности, — законы же или предписанія нравственныя устремляются въ будущее, предъявляютъ требованія къ нашей волѣ, и составляютъ результатъ разцѣпки вещей и дѣйствій

на хорошія и дурныя, съ точки зрѣнія представленія о „высшемъ благѣ“, съ точки зрѣнія образа „желательнаго“ счастья, съ точки зрѣнія типа „нормальнаго человѣка“ и „нормальной жизни“. Какъ можетъ наука добыть, въ томъ матеріалѣ, къ которому она прикована, эти высшія мѣрила, необходимыя для отличія нравственно добраго отъ злаго? Она не можетъ здѣсь преуспѣвать не потому, что она еще слаба, что О. Контъ родился слишкомъ поздно, а потому, что таково уже самое свойство ея существа.

II.

И въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ найдетъ наука критерій для отличія добрыхъ дѣйствій отъ злыхъ, хорошихъ поступковъ отъ дурныхъ? Быть можетъ она предприметъ такую разсортировку на основаніи изученія человѣческой природы, свойствъ и наклонностей, присущихъ людямъ? Но для ученаго, какъ ученаго, всѣ эти свойства и всѣ эти наклонности одинаково интересны, подвигъ самопожертвованія такъ же привлечетъ его испытующее вниманіе, какъ и фактъ

свирѣпаго преступленія. Чтобы сдѣлать нравственную оцѣнку дѣйствій, нужно имѣть какое-нибудь основаніе, для различенія этихъ дѣйствій, для выбора однихъ въ разрядъ хорошихъ и отнесенія другихъ въ разрядъ дурныхъ. Были дѣлаемы попытки приписать добрую дѣятельность внушенію наиболѣе *естественныхъ, безъискусственныхъ, обще-человѣческихъ* наклонностей; но наблюденіе фактовъ, и современности, и историческаго прошлаго, не позволяетъ остановиться на такомъ рѣшеніи вопроса. Не имѣемъ-ли мы достаточно данныхъ сказать, что наиболѣе безъискусственныя наклонности суть не рѣдко наиболѣе дурныя съ нравственной точки зрѣнія, что, сбрасывая съ себя оболочку нравственной выучки, дисциплины, культуры, люди часто являютъ образъ дикаго звѣря, жаждущаго упиться кровью ближняго? Франція, при наступленіи первой революціи, съ ликованіемъ праздновала ниспроверженіе всякой искусственности, возрожденіе „естественнаго чловѣка, освобожденнаго изъ-подъ гнета цивилизаціи.“ Но чѣмъ ознаменовалъ свое воскресеніе этотъ, воспѣтый въ философскихъ и ли-

тературныхъ пастораляхъ, „l'homme naturel?“ Мы раскрываемъ описаніе знаменитыхъ революціонныхъ „дней“ и читаемъ слѣдующее: „Въ тюрьмѣ аббатства Сень-Жерменъ, — рассказываетъ Ламартинъ („Исторія Жирондистовъ“), — послѣ долгихъ кровопролитій, оставался, наконецъ, одинъ заключенный. Это былъ де-Сень-Маркъ, кавалерійскій полковникъ. Убійцы условились между собой продлить его страданія, чтобы всѣ могли имѣть свою долю въ его мученіяхъ и смерти. Они медленно провели его сквозь рядъ сабель, удары которыхъ старались наносить не слишкомъ сильно, чтобы не слишкомъ скоро покончить несчастнаго. Потомъ убійцы прокололи его копьемъ, которое прошло сквозь тѣло. Въ такомъ видѣ они заставили его идти ползкомъ на колѣняхъ, передразнивая и осмѣивая судорожныя движенія, вызываемыя у страдальца такими муками. Когда онъ уже не въ силахъ былъ держаться, убійцы изрубили ему руки, лицо, члены сабельными ударами и, наконецъ, прострѣлили шестью пулями въ голову.“ Подобныхъ примѣровъ можно привести не мало.

Вотъ почему вѣру въ доброту естественныхъ наклонностей человѣка, не тронутыхъ искусственной культурой, должно отнести къ числу иллюзій; вотъ почему желаніе нѣкоторыхъ педагоговъ основать воспитаніе „на слѣдованіи вѣчнымъ силамъ и свойствамъ природы“ не имѣетъ въ нашихъ глазахъ существеннаго значенія. Развѣ не на „природу и ея законы“ опиралась, напримѣръ, воспитаніе Клемана (убійцы Генриха III-го), когда его кормили раздражающей пищей, когда въ немъ, съ помощью герцогини Монпансье, разжигали страсть, когда его запирали въ „комнату размышленій“, когда, однимъ словомъ, — какъ говоритъ Мишле, — „его аттаковывали одновременно и адомъ и раемъ?“

Такъ-же безуспѣшны попытки науки открыть *нормальный образъ нравственной жизни*, путемъ изученія *исторіи развитія* всего существующаго въ мірѣ. Въ этой исторіи ученые надѣются уловить тотъ путь, которымъ *природа* ведетъ все существующее, а вмѣстѣ и человѣчество, по лѣстницѣ предначертаннаго ею совершенствованія. Однакоже, при ближайшемъ разсмотрѣніи, такая на-

дежда оказывается неосуществимой по многимъ причинамъ. *Во первыхъ*, согласно указанной точкѣ зрѣнія, прежде чѣмъ лишь приступить къ области морали, намъ нужно пройти огромный путь детальнаго изученія формъ бытія различныхъ существъ, отъ зачаточной клѣточки и низшихъ инфузорій, до человѣка. Эта область настолько велика, что ученые, подходящіе къ вопросамъ морали указанной дорогой, напоминаютъ человѣка, который хотѣлъ перепрыгнуть ровъ, и для того разбѣжался такъ далеко, что задохнулся и принужденъ былъ сѣсть на краю этого самаго рва. Затѣмъ, эта область такъ темна, что ученый необходимо долженъ помогать себѣ гипотезами и наполнять встрѣчающіяся на пути пропасти созданіями своей фантазіи. Вотъ почему Brentano („Древніе и современные софисты“) называетъ „теорію развитія“ главнаго современнаго „эволюціониста“, Герберта Спенсера, — сказкой, и весьма скучной сказкой, такъ-какъ въ ней дѣйствуютъ не живыя поэтическія лица, а „безыменные, неясные образы, появляющіеся среди непрогляднаго мрака, получающіе очертанія, растущіе, вы-

ступающіе впередъ, для того только, чтобы отступить назадъ, сгладиться, погрузиться въ ночную тьму, потомъ снова явиться въ другихъ формахъ и снова исчезнуть точно такимъ же образомъ.“

Во вторыхъ, надежда науки извлечь нормы нашего поведенія изъ изученія всемірнаго развитія неосуществима потому, что процессъ этого развитія еще не законченъ. Человѣчество не дожило еще до послѣдней ступени конечнаго совершенства, когда наука могла бы заняться подведеніемъ итоговъ, уясненіемъ лежащей передъ ней конечной формы жизни, и предписываніемъ правилъ поведенія, съ точки зрѣнія осуществленнаго общаго счастья. Теперь человѣчество еще въ походѣ; будущее неизвѣстно, и никто не можетъ сказать, чтобы это будущее было тождественно, или хотя бы подобно прошедшему и настоящему, единственно доступнымъ наукѣ. Ученый, какъ ученый, не можетъ дать намъ формулу общаго счастья, а слѣдовательно, не можетъ указать намъ и общую цѣль, не можетъ вооружить насъ общимъ, объективнымъ мѣриломъ нравственной оцѣнки фактовъ поведенія.

Здѣсь каждый изъ насъ и всѣ люди вообще призваны, на свой рискъ и страхъ, подвигаться впередъ, населяя будущее дорогими сердцу идеалами.

Въ третьихъ, обѣщанія положительной науки дать положительную, научную мораль неисполнимы потому, что они опираются на предположеніе возможности подсмотрѣть, въ пестротѣ дѣйствительности, конечныя цѣли природы — руководительницы и подслушать ея волю. Но такія конечныя цѣли не доступны испытующему человѣческому уму, и такое представленіе о природѣ не есть научное представленіе. Пантеистъ, фаталистъ или поэтъ могутъ себѣ воображать природу, въ видѣ любящей матери или враждебной мачихи, но, для человѣка положительной науки, раздѣлять подобныя представленія, значитъ впадать въ жестокую ересь. Единственно возможное для ученаго фигуральное изображеніе природы есть развѣ такое, какое оставилъ римскій сатирикъ Лукіанъ, или нашъ незабвенный романистъ Тургеневъ. Лукіанъ, олицетворяя на своемъ языческо-скептическомъ языкѣ „природу-руководительницу“ въ образѣ громоверж-

ца, говоритъ: „Юпитеръ занимается выслушиваніемъ людскихъ просьбъ, въ которыхъ одни просятъ о выигрышѣ процесса, другіе о смерти брата, третьи о смерти жены, и т. д. Затѣмъ, Юпитеръ принимается за управленіе физическимъ міромъ. Посылаетъ сѣверный вѣтеръ на Лидію, поднимаетъ бурю въ Адриатическомъ морѣ, приказываетъ выпастись десяти тысячамъ четверикамъ града на Каппадокію, и, исполнивши все это съ величественной беззаботностью, направляется къ пиршественной залѣ: наступилъ часъ ужина.“ Еще выразительнѣе „разговоръ“ Тургенева съ „природой.“ („Стихотв. въ прозѣ“).

„ — Развѣ мы, люди, не любимыя твои дѣти?

„ — Всѣ твари, — отвѣчаетъ природа, — мои дѣти, и я одинаково о нихъ забочусь — и одинаково ихъ истребляю.

„ — Но добро... разумъ... справедливость...

„ — Это человѣческія слова. Я не вѣдаю ни добра, ни зла... Разумъ мнѣ не законъ, — и что такое справедливость?.. Я тебѣ дала жизнь, — я ее отниму и дамъ другимъ, червямъ или людямъ... мнѣ все равно... А ты, пока, защищайся...“

Безъ всякаго сомнѣнія, въ дѣйствительности, или въ природѣ, съ объективно-научной точки зрѣнія, нѣтъ ни нравственного добра, ни красоты. Ученый теряетъ подъ собою свою специальную почву, когда приступаетъ къ разсортировкѣ явленій общежитія на симпатичныя и антипатичныя, на благородныя и неблагородныя; точно также натуралистъ оставляетъ предѣлы своей науки, когда отдаетъ предпочтеніе аромату розы передъ запахомъ полыни, или съ отвращеніемъ говоритъ о пипѣ суринамской. Различіе нравственно добраго и злаго, красиваго и некрасиваго, дѣлается на основаніи сравніванія даннаго предмета съ цѣлями, которыя мы преслѣдуемъ, съ идеалами, которыми мы живемъ. Но, гдѣ рѣчь идетъ о цѣляхъ, объ идеалахъ, тамъ лежитъ область искусства, а не науки.

III.

Смѣшеніе сферъ науки и искусства не рѣдко даетъ себя замѣтить въ теченіи переживаемой нами второй половины XIX столѣ-

тія. Ученые и художники какъ-будто завидуютъ другъ другу и толпятся на границѣ, разделяющей ихъ владѣнія, позволяя себѣ предосудительныя браконьерства въ чужихъ владѣніяхъ. Обращикомъ такихъ противузаконныхъ узурпацій можетъ служить знаменитая теорія „художниковъ-натуралистовъ.“ Проповѣдь Э. Зола, заключающаяся въ его извѣстныхъ „Парижскихъ письмахъ,“ прославляетъ „экспериментальный методъ“ въ искусствѣ и характеризуетъ этотъ методъ такъ: „Изучаютъ человѣка и природу, классифицируютъ документы и шагъ за шагомъ подвигаются впередъ, но никто не беретъ на себя смѣлость сдѣлать выводъ, потому-что изслѣдованіе еще не окончено, и никому не извѣстно его послѣднее слово.“ Однако жизнь, замѣтимъ мы, не ждетъ; въ политикѣ, въ морали, въ искусствѣ, необходимо каждый день, каждую минуту принимать рѣшенія, не ожидая окончанія по истинѣ безконечныхъ изслѣдованій.— „Мы, говоритъ Зола, дѣятельные работники, осматривающіе зданіе, указывающіе подгнившія бревна, внутреннія трещины, распатанные камни.“ Но на основаніи какаго кри-

терія дѣлаются эти указанія? Чтобы судить факты, нужно возвыситься надъ ними, чего не имѣютъ права дѣлать люди, ушедшіе съ головой въ „собираніе документовъ дѣйствительности“. — „Мы, — читаемъ дальше, — отдаемъ преимущество правдивымъ фактамъ передъ громкими словами, мы считаемъ, что самыми прекрасными дѣйствіями будутъ самыя логическія“. Но, по всей вѣроятности, движеніе холеры по Европѣ имѣетъ свою опредѣленную „логику“, однако-же это движеніе не вызываетъ въ насъ восхищенія. Рѣчь шекспировскаго Шейлока, въ защиту его „права“, достаточно логична, но мы не находимъ ее нравственно прекрасной... Зола постоянно ссылается на Клода Бернара, но, наконецъ, съ неудовольствіемъ встрѣчаетъ у него противорѣчащее, въ сущности—вовсе убивающее „натурализмъ“, положеніе. „Въ искусствѣ и литературѣ, — говоритъ знаменитый ученый, — индивидуальность беретъ верхъ надъ всѣмъ остальнымъ; тутъ дѣло идетъ о непосредственномъ творествѣ и это не имѣетъ ничего общаго съ изслѣдованіемъ естественныхъ явленій, въ которомъ мы не должны ничего соз-

давать". Еще лучшее возраженіе можетъ быть добыто изъ собственныхъ художественныхъ произведеній теоретиковъ-натуралистовъ. „Реалистическій романъ,—гласитъ рецептъ Зола,— есть ничто иное, какъ изслѣдованіе природы, протоколъ, все достоинство котораго заключается въ точности наблюденія. Романъ объективенъ; авторъ—судебный слѣдователь, не позволяющій себѣ судить и произносить приговоръ: фактъ таковъ, опытъ, сдѣланный при такихъ условіяхъ, далъ такіе результаты,— вотъ и все“. Однако, этой „теоріи“ не соотвѣтствуетъ „практика“. Какое-бы мы ни взяли произведеніе новой школы французскихъ беллетристовъ, мы, къ счастью, не найдемъ въ немъ нравственнаго индифферентизма. Даже въ такомъ романѣ, какъ *Pot-Bouille*, Зола не ограничивается описаніемъ фактовъ изъ жизни буржуазіи, но скорбитъ надъ испорченностью этой жизни, обладаетъ желчью сарказма пороки, язвитъ ядовитой ироніей презрѣнныя слабости, и, мѣстами, возвышается до тоновъ истинно драматической рѣчи. Точно такъ-же въ романѣ Додэ „*Sapho*“, передъ нами не описаніе свойствъ „свободной люб-

ви“, а живой, назидательный урокъ, предохраняющій отъ легкомысленнаго потворства чувственнымъ влеченіямъ. Изображенія Зола и Додэ производятъ сильное впечатлѣніе на читателя, но это впечатлѣніе обуславливается не тѣмъ только, что авторы ихъ хорошо изучили факты, но еще, и главнымъ образомъ, тѣмъ, что эти авторы одарены большимъ творческимъ талантомъ, благороднымъ складомъ чувствъ и возвышенностью живущихъ въ ихъ душѣ идеаловъ.

Наука должна быть готова отвѣчать, по возможности точно, на наши запросы: какъ существуютъ вещи въ дѣйствительности? Какія изъ нихъ состоятъ въ естественномъ взаимномъ согласіи и какія въ естественномъ антагонизмѣ? Какимъ образомъ цѣпь причинной связи сплетаетъ ихъ вмѣстѣ? За какую пружину механизма природы тронуть, чтобы вызвать то или другое дѣйствіе?.. Но вопросы о томъ, что намъ нужно, что намъ нравится, что красиво, что хорошо или дурно,—эти вопросы разрѣшаются складомъ нашихъ чувствъ и соотвѣстственными этому складу идеалами,—созданіями человѣческаго генія. Говорятъ, что

все таинственное, неизвѣстное питаетъ поэзію; что тѣнистые уголки, гроты, все невидное съ перваго взгляда и какъ-бы прячущееся отъ насъ, составляетъ главную тему искусства; что лунный свѣтъ столь любимъ художниками потому, что онъ окутываетъ предметы прозрачнымъ и мягкимъ облакомъ, а это облако и есть сама поэзія. Не будетъ-ли отсюда правильнымъ выводомъ, что нужно только разогнать облако незнанія, чтобы заставить исчезнуть грезы и мечты художества? Можно-ли заключить, что съ прогрессомъ все объясняющей и освѣщающей науки, не останется болѣе мѣста для искусства?—Безспорно нѣтъ. Во-первыхъ, знанія и объясненія науки,—какъ замѣчаетъ Gujau („Les problèmes de l'esthétique contemporaine“),—адресуются къ части чело-вѣка, а не ко всему его существу; объясненія науки не могутъ дать того ощущенія, того внутренняго чувства вещей, какое дается поэзіей: самый лучший учебникъ географіи не можетъ подорвать интересъ художественнаго описанія путешественниковъ. Во-вторыхъ, есть ли такія открытія, которыя не приводили-бы къ новымъ тайнамъ и не благоприятствовали-

бы все большому развитію воображенія? Наука, говоритъ Кольриджъ, начиная съ удивленія, оканчиваетъ также удивленіемъ, а именно это удивленіе и порождаетъ поэзію, точно такъ-же, какъ и философію. Наука не можетъ устранить тайны метафизическія: тѣма окружаетъ сущность вещей; дойдя до предѣла, самъ ученый принужденъ остановиться и предоставить себя, по выраженію Клода Бернара, „bercer au vent de l'inconnu, dans les sublimités de l'ignorance“. Вотъ почему Пастёръ, въ своей вступительной академической рѣчи, ссылается на одного психолога, который сказалъ: „je pense, que celui, qui n'aurait que des idées claires, serait assurément un sot.“

Наконецъ, наука не можетъ занять мѣсто искусства, въ силу уже указаннаго выше различія областей ихъ дѣятельности. Если-бы прекрасное существовало реально гдѣ-нибудь, имѣло-бы мѣсто въ какихъ-нибудь предметахъ дѣйствительности, или, если-бы оно хотъ было неизмѣннымъ идеаломъ, наука могла-бы, въ концѣ концовъ, установить правила, посредствомъ которыхъ можно было-бы воспроизводить вѣчный типъ красоты; тогда ху-

дожникъ былъ-бы приведенъ къ роли трудолюбиваго ремесленника, обладающаго большей или меньшей ловкостью рукъ и исполняющаго свои произведенія по данной модели; все дѣло ограничивалось-бы качествомъ исполненія. Но, къ счастью или несчастью, творчество остается существеннымъ элементомъ въ искусствѣ. Это послѣднее отличается отъ науки чертой первостепенной важности: искусству нужно *создать* самый предметъ свой, прекрасное—въ художествѣ, нравственно-доброе—въ морали, вмѣсто того, чтобы только изучать его, разлагать и слагать научнымъ анализомъ. Начало, исходный пунктъ въ искусствѣ (а слѣдовательно и въ нравственности, ибо она есть искусство хорошо жить), составляетъ ощущение недостаточности того, что есть, беспокойство души по лучшей жизни; человекъ искушается творить въ свою очередь, противопоставлять великому міру маленькій міръ, весь проникнутый человѣчностью, созерцаніе которой чаруетъ насъ и ободряетъ. Если-бы мы жили въ земномъ раю, дѣйствительное сливалось-бы съ идеальнымъ, и, какъ говоритъ Seailles, — „l'unique poème serait la réalité.“

Пушкинъ писалъ по разсматриваемому вопросу слѣдующее (въ одномъ мѣстѣ рукописи, хранящейся въ Румянцевскомъ музеѣ): „Если Руссо сказалъ: *il n'y a de beau que ce qui n'est pas*, — то это не значитъ: только то прекрасно, что не существуетъ. Прекрасное существуетъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ его нѣтъ, ибо оно является намъ единственно для того, чтобы исчезнуть, чтобы оживить и обновить намъ душу, но его ни удержать, ни разглядѣть, ни постигнуть мы не можемъ. Оно не имѣетъ ни имени, ни образа; оно посѣщаетъ насъ въ лучшія минуты бытія. Въ эти минуты живаго чувства стремишься не къ тому, чѣмъ оно произведено и что передъ тобою, но къ чему-то лучшему, тайному, далекому“. Въ этихъ, правда, не вполне опредѣленныхъ словахъ, мы слышимъ голосъ поэта, свидѣтельствующій о томъ, что художественные образы заимствуются имъ не изъ-внѣ, а выливаются изъ его взволнованной до дна души. Сила творческаго генія (сила, мало изученная, и, — какъ думаетъ Гюйо, — слишкомъ сложная, чтобы ее можно было анализировать научно), эта сила выбрасываетъ наружу, объективируетъ, одѣваетъ

плотью и кровью, обращаетъ въ идеи, образы и аккорды, скрытыя сокровища человѣческой природы. „Потребность писать, говорилъ Байронъ, кипитъ во мнѣ и терзаетъ меня, какъ мука, отъ которой я долженъ непремѣнно освободиться.“ „Послѣ того, какъ мы долго и внимательно разсматриваемъ предметы, — описываетъ Бюффонъ, — они начинаютъ развертываться и развиваться передъ нашими глазами. Наконецъ, вы ощущаете нѣчто въ родѣ слабаго электрическаго толчка, ударяющаго васъ въ голову и хватающаго за сердце. Это и есть моментъ проявленія генія“.

Такому или подобному объясненію акта творчества служитъ подтвержденіемъ быстрота, съ какой иногда работаютъ художники, съ какой, напр., Айвазовскій рисуетъ свои картины, или Вольтеръ писалъ свои трагедіи. „Вся эта трагедія, — говоритъ Вольтеръ въ предисловіи къ „Катиллинѣ“, — была вчернѣ написана мною въ одну недѣлю. Пять актовъ въ недѣлю! Я знаю, что это просто смѣшно. Но если-бы люди знали, на что способенъ энтузіазмъ, и какъ быстро можетъ работать голова, одаренная, по несчастью, поэтическимъ

складомъ ума и разгоряченная чтеніемъ рѣчей Цицерона противъ Катиллины, а еще болѣе — страстнымъ желаніемъ выставить этого великаго человѣка въ его настоящемъ видѣ; если-бы они знали, говорю я, съ какой легкостью или, лучше сказать, съ какимъ бѣшенствомъ работаетъ такая голова послѣ подобнаго подготовленія, если-бы они знали, какъ легко ей, преисполненной Римомъ, идолопоклоннически благоговѣющей передъ сюжетомъ трагедіи и пожираемой собственнымъ геніемъ, — сдѣлать въ нѣсколько дней то, чего, при другихъ обстоятельствахъ, она не могла-бы сдѣлать и въ цѣлый годъ; наконецъ, *si scirent donum Dei*, — то они менѣе удивлялись-бы подобнымъ вещамъ.“

Спѣшимъ прибавить, что было-бы ошибочно предполагать, будто этотъ даръ творчества принадлежитъ однимъ выдающимся, исключительно даровитымъ личностямъ. Поэты и художники лишь съ большей силой и рельефностью выражаютъ то, что создается и зрѣетъ мало-по-малу въ творествѣ окружающихъ людей, окружающаго общества. Видя произведеніе искусства, мы съ удивленіемъ замѣчаемъ, что въ немъ какъ-бы отгаданы мысли,

мелькавшія уже раньше въ нашей головѣ, и чувства, волновавшія уже раньше наше сердце. Такимъ образомъ, грандіозное творчество сильнаго таланта встрѣчается съ маленькимъ творчествомъ обыкновенныхъ смертныхъ. Благодаря этой встрѣчѣ, получается обоюдная выгода: мы перестаемъ томиться муками порожденія той или другой идеи или образа, получая ихъ въ готовомъ видѣ изъ рукъ опередившаго насъ гения; гений же не изолируется на своихъ высотахъ, не отрывается отъ окружающаго, а находитъ людей, сочувствующихъ ему и понимающихъ его созданія.

IV.

Сказанное объ искусствѣ вообще примѣнимо въ частности и къ сферѣ морали. Здѣсь также мѣрило для оцѣнки фактовъ, а слѣдовательно, и правила нравственнаго и правоваго поведенія, опредѣляются складомъ нашихъ чувствъ и соотвѣтственными имъ, созданными нашимъ творчествомъ, идеалами добра. Въ этихъ идеалахъ выступаетъ путеводная цѣль желательнаго блага или счастья, въ нихъ рисуется фигура „нормальнаго человѣка“, очерчиваются общіе

контуры „нормальной жизни“; отсюда проистекаютъ нормы „должныхъ“ поступковъ, правила „хорошаго“ поведенія. Обязательность такихъ нормъ и правилъ обусловливается несогласіемъ ихъ съ природой, или съ естественными человѣческими наклонностями, и не научными расчетами о пользѣ и удовольствіяхъ, ожидаемыхъ отъ ихъ осуществленія, — ибо такое осуществленіе нерѣдко прямо противоположно интересамъ дѣятеля, выгоды же будущихъ поколѣній не поддаются вычисленію. Мы исполняемъ эти нормы, мы стоимъ на стражѣ ихъ, мы сражаемся за нихъ потому, что при ихъ посредствѣ стремится выразиться наша любимая идея, дорогой нашему сердцу образъ благополучія.

И въ этой области творчества, какъ вообще въ искусствѣ, трудится каждый человѣкъ въ отдѣльности и все общество въ массѣ. Здѣсь также гении, въ образѣ основателей ученій, авторовъ системъ и героевъ филантропіи, опережаютъ остальныхъ смертныхъ, но встрѣчаются, въ своихъ порывахъ къ будущему и лучшему, съ духовной работой своихъ современниковъ. Такая работа выражается въ

„общественномъ мнѣніи“ и опредѣляетъ „нравственный уровень общества“. Кто создаетъ общественное мнѣніе?—Всѣ и никто, — отвѣчаетъ Гольцендорфъ („Роль общ. мнѣнія въ госуд. жизни“). Всѣ, потому что всѣ мы живемъ въ одномъ гражданскомъ обществѣ, и никто, если примемъ во вниманіе нашъ индивидуальный способъ мышленія и дѣйствія. Съ самаго перваго возникновенія общества является уже общественное мнѣніе, касательно всѣхъ жизненныхъ отправленій и достиженія тѣхъ или другихъ цѣлей. Оно есть актъ творчества народнаго духа, имѣющій мѣсто въ каждой органически связанной общественной группѣ. Люди заняты каждый своимъ дѣломъ; земледѣльцы, ремесленники, воины, правители, художники, ученые, углублены въ свою работу и, кажется, ничѣмъ не интересуются, кромѣ этой работы. Но это только кажется. Въ сущности, всѣ они, сознательно или не сознательно, создаютъ извѣстную форму жизни, осуществляютъ извѣстный идеалъ лучшаго, вырабатываютъ такой или иной образъ человѣческаго благополучія и счастья. Прекрасное, художественное выраженіе этой мысли нахо-

димъ мы у гр. Л. Толстаго. „Помню, — рассказываетъ онъ, шель я однажды въ Москвѣ по улицѣ и впереди себя вижу — вышель чело-вѣкъ, внимательно посмотрѣлъ на камни тротуара, потомъ выбралъ одинъ камень, присѣлъ надъ нимъ и сталъ его (какъ мнѣ показалось) скоблить или терѣть съ величайшимъ напряженіемъ и усиліемъ. „Что такое онъ дѣлаетъ съ этимъ тротуаромъ?“ подумалъ я. Подойдя вплотъ, я увидѣлъ, что дѣлалъ этотъ чело-вѣкъ; это былъ молодецъ изъ мясной лавки; онъ точилъ свой ножъ о камни тротуара. Онъ вовсе не думалъ о камняхъ, рассматривая ихъ, и еще менѣе думалъ о нихъ, дѣлая свое дѣло, — онъ точилъ свой ножъ; мнѣ-же показалось, что онъ дѣлаетъ какое-то дѣло надъ камнями тротуара. Точно такъ-же только кажется, что чело-вѣчество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами; одно дѣло только для него важно и одно только дѣло оно дѣлаетъ, это дѣло — уясненіе, утвержденіе, упрощеніе нравственной истины“.

Разсматриваемая духовная работа производится не ремесленнымъ образомъ и не посредствомъ простаго копированія модели, будто-бы

существующей гдѣ-нибудь фактически. Не путемъ, — говоритъ Гольцендорфъ, — наблюдения и подведенія точныхъ итоговъ сосчитаннаго — возникаютъ руководящія идеи. Внутренній складъ чувствъ, внутреннія тенденціи желаній создаютъ образъ существованія, сообразно образцу или идеалу, который живетъ и дѣйствуетъ непосредственно, часто даже не будучи уясненнымъ сознательно, не ставши еще объектомъ сознательнаго разсматриванія и оцѣниванія, со стороны своего творца — народа. Возьмемъ примѣръ изъ исторіи средневѣковаго быта Германіи. Ученые нашего времени, изучая памятники стараго германскаго права, раскрываютъ заключающіеся въ немъ основные принципы и руководящія идеи, въ которыхъ выразились отличительныя свойства духовнаго склада германскаго племени. Современные ученые указываютъ здѣсь слѣды весьма удачной комбинаціи — признанія высшаго, божественнаго міропорядка съ чувствомъ лично-человѣческой самостоятельности. Такая комбинація не позволяла, съ одной стороны, идеѣ божественнаго порядка приобрѣсти свойства подавляющаго гнета, съ другой стороны,

не позволяла чувству субъективности переходить въ крайности индивидуализма. По мнѣнію средневѣковыхъ германцевъ, — продолжаютъ современные ученые, — жизнью людей управляетъ не личный произволъ каждаго, а право, имѣющее свой источникъ въ Богѣ. Такимъ образомъ, право, исходящее изъ міроуправляющей божественной воли, снабжаетъ человѣка не только извѣстнымъ правомочіемъ, но и налагаетъ какъ-бы отвѣтственность за болѣе или менѣе надлежащее осуществленіе этого правомочія. Право, слѣдовательно, устанавливаетъ между Богомъ и людьми своего рода союзъ, какъ между верховнымъ, небеснымъ сюзереномъ и его земными вассалами. Отсюда, съ одной стороны, убѣжденіе германца въ святости принадлежащихъ ему правъ и стойкость при защитѣ ихъ, съ другой стороны, понятіе о „чести“, какъ о мѣрилѣ степени осуществленія своего права и слитыхъ съ нимъ обязанностей. Изъ сказаннаго же не трудно понять исходный пунктъ и точку опоры „чувства долга вѣрности“, этого основнаго винта всего феодальнаго механизма.

Такимъ образомъ, передъ нами весьма опредѣленно очерчивается нравственная физиономія общества и выясняются руководящія идеи, проникающія и связывающія его жизнь. Но весь этотъ чертежъ сдѣланъ много вѣковъ позднѣе, руками ученыхъ изслѣдователей. Тогда-же, когда упомянутый нравственный образъ создавался, никто не размышлялъ надъ нимъ, никто не придумывалъ его. Всѣ занимались, — какъ должно было казаться со стороны, — своимъ дѣломъ, всѣ только воевали и грабили, любили и наслаждались, страдали и плакали, болѣли и умирали.

Конечно, съ достиженіемъ извѣстнаго возраста народной зрѣлости, сознательность вступаетъ въ свои права; ученые распластываютъ твореніе народа, развинчиваютъ по всѣмъ винтамъ механизмъ, овецествляющій „идею должнаго“. Но въ это же самое время народъ подвигается впередъ, чувства устремляются къ будущему, создается образъ лучшаго и жизнь модифицируется для воспріятія этого лучшаго. Безъ сомнѣнія, выдающіяся личности принимаютъ мощное участіе въ дѣлѣ. Люди науки также выдвигаютъ свои идеи, воз-

зрѣнія и предположенія; однако-же, напрасно было-бы думать, что эти идеи и воззрѣнія суть логическіе выводы изъ фактовъ или „положенія“, „требованія“ науки; нравственно-юридическія и политическія идеи ученаго, составляютъ выраженіе его идеала, какъ сына даннаго времени и народа, идеала — порожденнаго его чувствами и формулированнаго его творчествомъ. Эти идеи, будучи выражены, попадаютъ въ водоворотъ воззрѣній другихъ людей, и норма морали или права является и развивается по равнодѣйствующей параллелограмма силъ, состоящихъ въ распоряженіи различныхъ желаній, интересовъ и идей народа.

Изъ всѣхъ изложенныхъ соображеній, кажется, выясняется отношеніе науки, какое-бы она ни носила названіе, — физиологіи, біологіи, психологіи или соціологіи, — къ морали. Наука вооружаетъ насъ свѣдѣніями, она расширяетъ наше благоразуміе, она увеличиваетъ наше практическое могущество, но она не опредѣляетъ сущности счастья, не устанавливаетъ правилъ нашего поведенія, не создаетъ системы морали и не дѣлаетъ человѣка нравственнымъ.

V.

Возвращаемся еще раз къ попыткамъ науки захватить въ плѣнъ территорію искусства. Не смотря на „положительность“ позитивныхъ моралистовъ, желающихъ внести въ область нравственности „характеръ необходимости, свойственный вообще всѣмъ научнымъ законамъ“, не смотря на рѣшительность, съ какою художники-натуралисты, устами Зола, утверждаютъ, что „идеаль порождаетъ всѣ бредни, бросаетъ молодыхъ дѣвушекъ въ объятія перваго встрѣчнаго, заставляетъ женъ измѣнять мужьямъ“, и пр., — не смотря на это, рассматриваемое направленіе въ своемъ родѣ есть также мечта, также идеаль, также поэзія. Но только, — какъ справедливо замѣчаетъ Séailles (*Revue philos.*, 86, № 10), — это поэзія скучная, такъ какъ въ ней нѣтъ мѣста свѣтлымъ грезамъ, нѣтъ мѣста свободному подъему духа, надъ бѣдами дѣйствительности, въ міръ, созданный свободной фантазіей. Въ перспективѣ, которую намъ открываетъ „позитивный“ идеаль, мы видимъ унылую сцену, освѣщенную сильнымъ, но мертвеннымъ элек-

трическимъ свѣтомъ. На этой сценѣ выступаетъ благоразуміе, расчетъ, старческая заботливость, какая-то госпитальная мораль, представляющая собою тоскливую смѣсь изъ предусмотрительности и предосторожности; далѣе, мелкій детализмъ и схоластика, болѣе унылая и холодная, чѣмъ схоластика среднихъ вѣковъ, „схоластика безъ соборовъ“. Если-же, наконецъ, предположить осуществившеюся мысль О. Конта о возникновеніи группы верховныхъ жрецовъ науки, обязанныхъ держать въ своихъ рукахъ концы всѣхъ спеціальныхъ отраслей знанія, — то можно, пожалуй, ожидать и нѣкоторую инквизицію, но опять-таки инквизицію безъ пышности, безъ торжественныхъ церемоній, безъ пламени костровъ, инквизицію болѣе скучную, чѣмъ ужасную.

Быть можетъ такое „экспериментально-положительное“ направленіе имѣетъ свое будущее. Мы готовы допустить эту возможность въ томъ смыслѣ, въ какомъ допускаетъ ее Ренанъ, говоря (отвѣтная рѣчь при вступленіи Пастера въ академію): „il occupera une place importante dans les futures histoires de

la philosophie, ce sera une erreur, — mais l'avenir commettra tant d'autres erreurs". Но мы не можем не указать тѣхъ *практическихъ* золь, которыми грозитъ разсматриваемое „умонастроение“, тѣхъ сѣмянъ его, которыя могутъ приносить не желательные всходы на почвѣ общественной нравственности. Исходный пунктъ: „факты и ничего, кромѣ фактовъ“, проникая умъ и сердце человѣка, толкаетъ этого послѣдняго на путь, ведущій къ выработкѣ типа „дѣльца“, „положительнаго, практическаго человѣка“. Къ чему беспокоиться тревогами, смущавшими душу отцовъ и дѣдовъ, когда эти тревоги едва-ли не призраки? Къ чему волноваться вопросами, лежащими за предѣломъ доступнаго нашимъ чувственнымъ воспріятіямъ? Человѣчество, въ теченіи тысячелѣтій своего существованія, крайне усложнило свою жизнь, насоздало легенды и поэмъ, туманомъ которыхъ плотно окутались всѣ вещи и отношенія, — не согласно-ли съ трезвой мудростью вернуться къ предметамъ и явленіямъ, каковы они есть, а не какими они являются въ произвольной и пестрой окраскѣ фантазіи?.. По лѣстницѣ такихъ и

подобныхъ силлогизмовъ и софизмовъ, мы достигаемъ пустынной вершины, съ которой начинаемъ говорить языкомъ „положительнаго человѣка“, изображеннаго у Диккенса: „Томасъ Градгриндъ, милостивые государи, — рекомендуетъ онъ самъ себя, это человѣкъ дѣйствительности, человѣкъ фактовъ и выкладокъ, человѣкъ, исходящій изъ одного принципа, что дважды два-четыре; больше онъ ничего не хочетъ знать, и никакими доводами, никакими способами не заставите вы его признать что нибудь выше этого. Всегда съ линейкой, парой вѣсовъ и таблицей умноженія въ карманѣ, онъ, сударь, всегда готовъ взвѣсить и измѣрить любую часть человѣческаго существа и опредѣленно и точно отвѣтить вамъ, что можно получить изъ нея. Это чисто цифровой вопросъ, это простое арифметическое дѣйствіе“.

Безъ сомнѣнія, отнюдь не желательно увеличеніе числа подобныхъ людей. Это слѣпцы, для которыхъ скрыты даль и высъ. Ихъ не занимаетъ ничто, кромѣ счета барышей и убытковъ. Въ душѣ, „очищенной отъ предрасудковъ и иллюзій“, поднимаетъ голову гидра же-

стокости, жадности и скупости. Градгринды могут быть купцами, банкирами, дѣльцами, — но кого изъ нихъ мы можемъ назвать своимъ роднымъ и ближнимъ, по общему для всѣхъ людей „подобію и образу“?.. Однако-же, „положительность“ не ограничивается этимъ типомъ; она можетъ логически развиваться дальше. „Дѣлецъ“, безъ сомнѣнія, большой отрицатель, но его отрицаніе останавливается передъ авторитетомъ „арифметическаго дѣйствія“. Градгриндъ гордится своими вѣсами, линейкой и таблицей умноженія. Онъ вѣритъ въ нихъ и эта вѣра даетъ ему возможность установить соотвѣтственныя правила жизни и составить съ людьми, подобными ему, извѣстный *modus vivendi*. Жестка и узка эта форма общенія, но все-же ее можно представить себѣ существующею; холодны и мертвенны эти конторскіе принципы, но все-же они могутъ служить какимъ-нибудь объединяющимъ началомъ. Роковая бѣда заключается здѣсь въ томъ, что авторитетъ таблицы умноженія, въ приложеніи къ области человѣческаго общенія, совсѣмъ не такъ неуязвимъ, какъ кажется. Базаровъ также говоритъ: „важно

только то, что дважды-два четыре, а остальное все пустяки“, — но у него эта формула имѣетъ уже новый смыслъ. Когда Базаровъ утверждаетъ, что „Рафаэль не стоитъ мѣднаго гроша“, или, что „порядочный химикъ въ двадцать разъ полезнѣе всякаго поэта“, — Градгриндъ считаетъ возможнымъ согласиться. Когда Базаровъ заявляетъ, что „нѣтъ ни одного семейнаго или общественнаго установленія, которое-бы не вызывало полнаго и безпощаднаго отрицанія“, — Градгриндъ задумывается въ сомнѣніи. Когда же Базаровъ восклицаетъ съ полнымъ презрѣніемъ: „Искусство наживать деньги, или нѣтъ болѣе гемороя!“ — Градгриндъ чувствуетъ себя задѣтымъ за живое и оскорбляется. Наконецъ, когда Базаровъ, увлекаемый вихремъ своей логики, доносится до послѣдняго звена своей *profession de foi*: „я ни во что не вѣрю!“ — тогда Градгриндъ отстаетъ совершенно и остается за флагомъ. Впрочемъ, тутъ уже все отходить въ сторону, все рушится, и, на мглістомъ фонѣ пустоты, видно только мерцающее блѣдными огнями слово: „nihil“. Если „практическій“ человѣкъ или дѣлецъ поражаетъ насъ убо-

гостью своего нравственного рублища, то здѣсь человѣкъ является передъ нами уже вполне нагимъ; здѣсь человѣкъ есть уже мертвый фактъ между другими мертвыми фактами.

Къ указанію моральныхъ бѣдъ, которыми грозитъ смѣшеніе объективно-научной точки зрѣнія съ нравственною, мы можемъ подойти еще короче. Въ всякаго сомнѣнія, что, передъ лицомъ науки, въ природѣ нѣтъ ничего, ни нравственно дурнаго, ни нравственно хорошаго. Всѣ страсти, всѣ желанія и аффекты, — говоритъ наука устами, напр., Спинозы, — суть естественныя проявленія человѣческой природы и, рассматриваемые сами по себѣ, ни хороши, ни дурны. Противъ этого спорить нельзя, однако-же легко себѣ представить, какіе получатся результаты, если приведенныя положенія науки, изучающей факты, перенести въ сферу морали, управляющей нашими дѣйствіями. Всѣ душевные мотивы нашихъ дѣйствій суть наши „свойства“. Вотъ слово, нравственное значеніе котораго прекрасно указано въ одной изъ сказокъ г. Щедрина. Какъ-то разъ, говоритъ сатирикъ, — добродѣтели и пороки, утомившись взаимнымъ препиратель-

ствомъ и борьбой, пришли къ рѣшенію поискать средствъ къ обоюдно выгодному примиренію. Во время ихъ дебатовъ, проходившій мимо Иванушка-дурачокъ сказалъ имъ: „Изъ-за чего только вы другъ друга увѣчите! Вѣдь первоначально вы всѣ одинаково *свойствами* были, и это уже потомъ, отъ безалаберности и каверзы людской, добродѣтели да пороки пошли. Назовитесь опять свойствами — и все дѣло“. И дѣйствительно, нельзя не согласиться съ тѣмъ, что это лучшее средство для уничтоженія границы между нравственно-добрымъ и злымъ. Становясь на эту точку зрѣнія, находчивый „позитивистъ“ рассуждаетъ такъ: „По природѣ, всѣ мои желанія и аппетиты одинаково естественны. Люди придумали считать одни изъ нихъ хорошими, другіе дурными, — но имѣетъ-ли подъ собою это различеніе абсолютно-прочный базисъ? Конечно, нѣтъ: одно и то же считается сегодня нравственно бѣлымъ, завтра — чернымъ, въ одномъ мѣстѣ одинъ и тотъ-же поступокъ осуждается, въ другомъ выхваляется. У насъ невоздержанность и воровство подвергаются наказанію, у казаковъ-же, описанныхъ граф.

Толстымъ, высшей похвалой звучала аттестація: „пьяница, воръ, человѣка убилъ!“ И такъ,—все относительно, и мой интересъ есть мой законъ!..“

Такимъ образомъ, всякія моральныя сдержки падаютъ и порокъ, выставляя кощунственно науку своей соучастницей, торжествуетъ въ ореолѣ мнимой „трезвой разсудочности“. Священное имя науки, совлеченной съ ея истиннаго, собственно ей принадлежащаго пьедестала, профанируется въ устахъ невѣжественной пошлости и нравственной распушенности.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Пути нравственнаго совершенствованія.

Не внѣ тебя правда, а въ тебѣ самомъ; найди себя въ себѣ, подчини себя себѣ, овладѣй собою—и узришь правду. Не въ вешахъ эта правда, не внѣ тебя и не за-моремъ гдѣ нибудь, а прежде всего въ твоёмъ собственномъ трудѣ надъ собою. Побѣдишь себя, усмиришь себя—и станешь свободенъ какъ никогда и не воображалъ себѣ и начнешь великое дѣло, и другихъ свободными сдѣлаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконецъ, народъ свой и святую правду его.

Достоевскій.

I.

Не будемъ вдаваться въ описаніе нравственныхъ золъ настоящаго времени. Сошлемся лишь на Крафта-Эбинга, изображающаго „нашъ нервный вѣкъ“ въ простыхъ, нисколько не риторическихъ, но тѣмъ болѣе жуткихъ чер-

тахъ. Довольнымъ, — говоритъ ученый, — спокойнымъ и здоровымъ нашего просвѣщеннаго человѣка никоимъ образомъ считать нельзя. Не смотря на окружающія удобства, у него нѣтъ прямоты взгляда, того добраго взгляда, которымъ отличалось старое время. Чрезмѣрная возбужденность нервовъ въ борьбѣ за существованіе создаетъ потребность въ затѣйливыхъ и дорогихъ наслажденіяхъ, для осуществленія которыхъ нервамъ-же приходится сильно работать: образуется не нормальный, тяжкій круговоротъ. Въ концѣ концовъ должно придти къ грустному заключенію, что обществу нашему грозитъ окончательное физическое и нравственное разложеніе, если не наступятъ благопріятныя условія, могущія поставить развитіе культуры на болѣе твердую почву, подкрѣпить и успокоить духъ и тѣло, и выдвинуть болѣе благородныя цѣли нашего бытія.

Изъ соображеній, приведенныхъ въ предъидущихъ главахъ, ясно, что, желая содѣйствовать подъему общаго уровня морали, нуждаясь дѣйствительно въ честныхъ людяхъ и цѣня искренно чистоту души, намъ нельзя

ограничиваться заботами о распространеніи знаній, а должно обратить свои усилія и на дѣло нравственнаго воспитанія. Но тутъ, на первомъ шагу, мы встрѣчаемся съ вопросомъ, поставленнымъ гр. Л. Н. Толстымъ:

„По какому праву, — спрашиваетъ нашъ художникъ-моралистъ, — можемъ мы воспитывать? По какому праву одинъ человѣкъ можетъ дѣлать изъ другихъ людей такихъ, какихъ ему хочется? Чѣмъ вы докажете это право?“ — Собственно говоря, юристъ не затруднится этимъ вопросомъ и легко докажетъ право семейнаго и публичнаго воспитанія ссылками на статьи всѣхъ европейскихъ кодексовъ, которые такъ или иначе формулируютъ это право, и, представляя собою выраженіе народнаго правосознанія, обнаруживаютъ взгляды по этому вопросу всѣхъ европейскихъ народовъ. Но, очевидно, у гр. Толстаго слово „право“ употреблено лишь въ фигуральномъ смыслѣ, и дѣло идетъ, собственно, о степени разумности или естественности основаній повсюду наблюдаемаго „факта воспитанія.“ Вопросъ, понятый въ этомъ смыслѣ, равняется слѣдующему: можемъ ли

мы позволять себѣ оказывать вліяніе на нашихъ ближнихъ? Могутъ-ли люди вліять другъ на друга?—Безъ сомнѣнія, — да. Каждый человѣкъ выработываетъ себѣ образъ нормальной личности и нормальной жизни. Онъ любитъ этотъ образъ и стремится къ нему. Сознаніе не-абсолютности и не-вѣчности нашего идеала не мѣшаетъ намъ дорожить имъ и полагать за него душу: юноша знаетъ, что предметъ его любви постарѣетъ, что розы и лиліи молодости увянутъ, однако-же онъ все-таки любитъ. Любя цѣль и стремясь къ ней, человѣкъ захватываетъ и увлекаетъ въ своемъ стремленіи столько лицъ изъ окружающей среды, сколько захватить и увлечь онъ въ силахъ. Это захватываніе или вліяніе — неизбежный фактъ, потому что человѣкъ есть существо общительное. Устранить это вліяніе значитъ уединить человѣка, изолировать каждую личность, разбить общество на обособленные единицы. Нельзя запретить или дозволить то, что лежитъ внѣ предѣловъ запрета и дозволенія. Конечно, можно говорить противъ деспотическаго насилуванія духовнаго міра людей, но тутъ уже рѣчь идетъ о способахъ вліянія, а не о самомъ

фактъ этого вліянія. Впрочемъ, и гр. Толстой, хотя и ставитъ приведенные вопросы, возстаетъ, въ сущности, не противъ воспитанія вообще, а только противъ нынѣшняго его строя: онъ хотѣлъ-бы, чтобы оно совершалось въ духѣ народномъ, въ соотвѣтствіи съ потребностями народа.

И такъ, какими-же способами достигается наибольшая степень вліянія на людей? Какимъ образомъ происходитъ процессъ нравственнаго совершенствованія? Съ какого конца начинается и какимъ путемъ подвигается дѣло насажденія добродѣтели въ душахъ? Такъ-какъ область морали есть область практической, активной, дѣятельной стороны жизни людей, то поставленные выше вопросы переходятъ въ слѣдующіе: Какимъ образомъ можемъ мы возбуждать дѣятельность человѣка въ извѣстномъ, желательномъ направленіи? На что нужно направлять усилія, чтобы обусловить совершеніе тѣхъ или иныхъ желательныхъ поступковъ?— Историческая наука разрѣшаетъ наше сомнѣніе, говоря, что событія суть продукты человѣческихъ чувствъ, желаній и страстей. Чтобы раскрыть передъ нами, — говоритъ Кар-

лейль, — исторію буддизма, нужно показать намъ спокойное отчаяніе аскетовъ, убитыхъ мыслью о безконечной мірской суетѣ и достигшихъ, въ своемъ однообразномъ квіетизмѣ, чувства всемірнаго братства. Чтобы сдѣлать для насъ понятной исторію христіанства, нужно раскрыть передо мною душу св. Іоанна или св. Петра, показать внезапное воспламененіе вѣры въ невидимыя вещи, преображеніе души, наплывъ нѣжности, великодѣшія, самоотверженности, упованія и надежды, явившихся, чтобы спасти несчастныхъ отъ тирани и дѣйствій времени паденія Римской имперіи“.

Согласно съ свидѣтельствомъ исторической науки, идетъ свидѣтельство науки о человѣческой природѣ. „Аффектъ, — замѣтилъ старшій сердецвѣдъ Спиноза, въ своей „Этикѣ“, — уступаетъ только сильнѣйшему аффекту; знаніе того, что называется добромъ и зломъ, бессильно передъ страстью“. Новѣйшіе ученые высказываются въ томъ-же смыслѣ. Такъ Рибо („Болѣзни личности“) говоритъ, что „личность слагается снизу“, и что „идеи, чтобы кто ни говорилъ, всегда служатъ стра-

стямъ, и похожи на господъ, которые постоянно повинуются, воображая будто повелѣваютъ“. Всѣ эти и имъ подобныя научныя положенія представляютъ собою только констатированіе и обоснованіе фактовъ, доступныхъ каждому простому смертному. Кому не извѣстно, и на собственномъ опытѣ, и въ наблюденіяхъ надъ ближними, что величайшія идеи и благороднѣйшіе принципы составляютъ мертвый баластъ, пока они остаются только въ памяти человѣка и въ его головѣ? Можно прекрасно понимать всѣ великія добродѣтели и вмѣстѣ съ тѣмъ брести окольной тропинкой порока; можно олицетворять собою большую этико-философскую бібліотеку и оказаться на скамьѣ подсудимыхъ, по любой статьѣ уложенія. Высочайшая головная честность и наиболѣе возвышенныя цѣли, диктуемыя умомъ, не только не въ силахъ создать героя, не въ силахъ заставить насъ идти на встрѣчу людскимъ страданіямъ, лечить чужія раны и осушать чужія слезы, — но даже не могутъ наполнить пустоту нашей собственной души, согрѣть и успокоить наше собственное сердце.

На этомъ именно безсиліи разсудочной добродѣтели основана душевная драма, выступающая въ правдивой и искренней автобіографіи Дж. Ст. Милля. Воспитываемый отцомъ, въ которомъ большія знанія соединялись съ нѣкоторой сухостью сердца, Милль съ раннихъ лѣтъ сталъ обладателемъ большого запаса свѣдѣній по разнымъ наукамъ. Книжный міръ раскрылъ передъ нимъ свои сокровища, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ оторвалъ его отъ непосредственной близости къ жизни, отъ непосредственнаго участія въ томъ водоворотѣ, гдѣ кипятъ человѣческія страсти, гдѣ люди сталкиваются, борются и соперничаютъ, но гдѣ, въ то же время, они выучиваются любить и быть справедливыми. Даже практическіе принципы, съ которыми Милль выступилъ на жизненное поприще, были—если можно такъ выразиться—книжнаго происхожденія; они вошли въ него не черезъ трепетные порывы сердца, а черезъ холодное сознаніе разсудка. „Мы,—говоритъ Милль о себѣ и о своихъ друзьяхъ,—все болѣе думали о томъ, чтобы измѣнить мнѣнія людей и заставить ихъ вѣрить только въ очевидность, а также сознавать

ихъ истинные интересы; разъ достигнувъ этого, мы были увѣрены, что сами люди, путемъ общественнаго мнѣнія, распространять между собою должное уваженіе къ своимъ дѣйствительнымъ интересамъ. Мы ожидали возрожденія человечества не отъ непосредственной дѣятельности чувствъ, а отъ вліянія умственнаго развитія, которое придастъ надлежащее направленіе эгоистическимъ чувствамъ человѣка“. Кто знакомъ съ моральнымъ ученіемъ Бентама, тотъ легко узнаетъ знаменитаго „утилитариста“ въ этой исповѣди разсудочной нравственности, въ этой вѣрѣ въ возможность научно, разъ навсегда, опредѣлить „истинные“ интересы людей, и въ этомъ отождествленіи знанія и добродѣтели. Къ какимъ-же результатамъ привела утилитарно-разумная мораль,—стройная, какъ геометрической чертежъ, и жесткая, какъ таблица логарифмовъ?

„Однажды, рассказываетъ Милль, мнѣ пришло на мысль вопросъ: если всѣ эти цѣли осуществляются, составитъ-ли это для тебя величайшую радость и полное счастье? Неумолимый голосъ совѣсти прямо отвѣтилъ: нѣтъ!

Сердце мое дрогнуло, все зданіе моей жизни разом рухнуло. Я ставилъ все свое счастье въ постоянномъ стремленіи къ одной цѣли, и эта цѣль потеряла для меня свою обязательную силу. Къ чему же было дальше стремиться? Къ чему оставалось жить?..“ Обычная ясность мысли весьма скоро объяснила Миллю причины печальнаго явленія. „Мое воспитаніе, говоритъ онъ, не развило чувствъ въ достаточной силѣ, чтобы противостать разлагающему вліянію анализа, тогда какъ весь ходъ моего умственнаго образованія приучилъ меня къ раннему, преждевременному анализу. Такимъ образомъ, я съ самаго начала моего странствованія по жизненнымъ волнамъ имѣлъ хорошо оснащенный корабль и руль, но у меня не было парусовъ; я не чувствовалъ истиннаго желанія достигнуть тѣхъ цѣлей, для достиженія которыхъ я былъ такъ тщательно подготовленъ; я не ощущалъ удовольствія, ни въ добродѣтели, ни въ общемъ благѣ, ни въ чемъ-либо другомъ“. Отсюда одинъ весьма назидательный выходъ: „Я пересталъ,— заключаетъ Милль,—придавать почти исключительную важность приведенію въ порядокъ

внѣшнихъ обстоятельствъ и воспитанію человеческого существа для умозрительной дѣятельности. Я не отвернулся отъ умственной дѣятельности, но теперь развитіе чувствъ сдѣлалось однимъ изъ главныхъ основаній моей нравственно-философской теоріи“.

И такъ, различными путями, исходя изъ различныхъ пунктовъ, мы приходимъ къ положенію, которое даетъ уже Платонъ, цитируя Теогнаста:

Docendo nunquam ex malo bonum hominem facies.

Мы принимаемъ это положеніе въ томъ смыслѣ, что „сообщеніемъ уму моральныхъ предписаній нельзя обратить дурнаго человѣка въ хорошаго“. Но мы не можемъ согласиться съ толкованіемъ, которое даетъ приведенному тексту Шопенгауэръ, опуская слово „docendo“. Шопенгауэръ („Основы морали“) думаетъ, что „злое сердце всегда и непремѣнно будетъ стремиться къ злу, какъ доброе къ добру“, и что измѣнить это болѣе невозможно, чѣмъ „сдѣлать золотомъ свинецъ“, такъ-какъ для этого, будто-бы „нужно вывернуть сердце въ груди человѣка и пересоз-

дать его внутрення глубины“. Согласившись съ Шопенгауэромъ, осталось-бы только признать существованіе прирожденно-различныхъ нравственныхъ натуръ и пассивно преклониться предъ этимъ фактомъ. Къ счастью, дѣйствительность не даетъ намъ примѣровъ абсолютныхъ злодѣевъ, какъ и абсолютныхъ ангеловъ добра. Даже Іуда, составляющій, въ глазахъ христіанина, крупный образчикъ злобы, низости и своекорыстія, — даже Іуда почувствовалъ ужасъ своего поступка; полученные тридцать сребренниковъ жгли ему руки и онъ бросилъ ихъ, съ тѣмъ презрѣніемъ и отчаяніемъ, съ какимъ онъ бросилъ потомъ и самую жизнь свою, опозоренную преступленіемъ. Человѣческая душа представляетъ собою цѣлую систему различныхъ струнъ; если въ ней звучать въ извѣстное время особенно сильно грубыя, жесткія ноты, то еще нельзя отрицать въ ней присутствія мягкихъ тоновъ, которые можно разбудить умѣлымъ прикосновеніемъ, можно вызвать на борьбу съ рѣзкими нотами зла, и, въ концѣ концовъ, достигнуть трогательной побѣды конечнаго, гармонически-нѣжнаго аккорда. Нужно только

помнить, что архимедова точка опоры, при этихъ нравственныхъ операціяхъ, лежитъ въ сферѣ чувствъ и въ предѣлахъ душевныхъ эмоцій. Недостаточно отвлеченныхъ разсужденій, мало еще угрозъ дурными послѣдствіями; чтобы побѣдить одну страсть, нужно призвать на помощь другую, нужно вызвать къ дѣйствию другой источникъ возбудимости.

Лучшіе авторитеты въ дѣлѣ моральной педагогиі высказываются въ этомъ смыслѣ. Блэки („О самовоспитаніи“) замѣчаетъ: „Нравственная сила достижима только дѣятельностью. Если вы воображаете, что въ этомъ вамъ много помогутъ книги, аргументы, умствованія и ученые диспуты, то вы жестоко ошибаетесь. Все это даетъ указанія и поощренія, но ни на шагъ не подвигаетъ васъ впередъ; весь путь долженъ быть пройденъ вашими собственными ногами. Какъ въ путешествіи верстовые столбы должны исчезнуть одинъ за другимъ позади васъ, иначе вы будете стоять на мѣстѣ, такъ точно и на великомъ пути нравственной жизни должны исчезать одинъ недостатокъ за другимъ, иначе вы погибли... Нужно вчитываться, вдумываться, вдыхать и

переживать произведенія, выражающія горячо и мощно высокіе идеалы человѣчества, пока душа не наполнится благотворнымъ и глубокимъ благоговѣніемъ и пока вокругъ насъ не образуется постоянная атмосфера чистаго и возвышеннаго чувства. Это и есть сердечное воспитаніе. Въ нравственномъ мірѣ двигательную силу составляетъ, безспорно, не знаніе, а стремленіе „горе“; если въ человѣкѣ нѣтъ этого стремленія, то душа его осуждена пресмыкаться“. Бэнъ („Воспитаніе“), цитируя Тэйлора, говоритъ: „Благонамѣренныя, но пустые обороты рѣчи: „изъ этого вы видите“, или „какъ важно помнить“ (столь обычныя въ „нравственныхъ“ разсказахъ), не достигаютъ въ воспитаніи никакой другой цѣли, кромѣ развѣ того, что даютъ отдыхъ и свободу уму дѣтей—слушателей или читателей. Эти слова тождественны фразѣ: „ну, я теперь по проповѣдую, а вы можете не слушать“.

Замѣчательнѣе всего, что подобныя истины остаются новыми только въ области моральнаго воспитанія. Только въ сферѣ нравственности, желая побудить людей къ движенію

въ извѣстномъ направленіи, считаютъ удобнымъ прибѣгать къ словеснымъ аргументамъ, къ разсудочнымъ проповѣдямъ и поученіямъ. Тогда какъ во всѣхъ другихъ случаяхъ, вызывая человѣка на совершеніе желательнаго поступка, люди обыкновенно дѣйствуютъ совсѣмъ иначе. Какой военачальникъ прочитываетъ солдатамъ, передъ битвой, обстоятельную лекцію о нравственномъ долгѣ умирать за отечество, о политическихъ и экономическихъ послѣдствіяхъ пораженія, и пр.? Вмѣсто этой лекціи, полководецъ бросаетъ въ ряды горячее слово, вырвавшееся изъ его воспламененнаго сердца, схватываетъ, въ рѣшительную минуту, знамя и бѣжитъ на встрѣчу урагану смерти и огня. Онъ знаетъ инстинктивно, безъ всякихъ теорій, что это есть единственно умѣстная проповѣдь. Точно также коварный Яго, желая вооружить Оттело противъ Кассія, не вдается въ обстоятельныя изложенія своихъ плановъ; онъ далекъ отъ наивной надежды достигнуть цѣли путемъ аргументовъ и поученій. Желая извѣстнаго дѣйствія, онъ обратился туда, откуда вытекаютъ всякія дѣйствія. Онъ нашелъ себѣ союзника

въ самой душѣ Оттело. Онъ уронилъ между нимъ и Кассіо платокъ Дездемоны, онъ бросилъ искру ревности въ сердце мавра, — и желаемое дѣйствіе должно было послѣдовать по собственному почину Оттело. Еще примѣръ. Каждый любящій человѣкъ желаетъ расположить волю любимой женщины къ поступкамъ, соотвѣтственнымъ его стремленіямъ. Но кто-же изъ нихъ обращается къ предмету любви съ поученіями, аргументами, силлогизмами, угрозами, и прочимъ арсеналомъ средствъ, считаемыхъ по недоразумѣнію умѣстными въ дѣлѣ нравственнаго воспитанія? Влюбленный ищетъ случая поставить на видъ свои привлекательныя свойства, онъ старается ассоціировать въ душѣ любимой женщины чувство удовольствія съ мыслью о его особѣ, онъ даетъ просторъ восторгу своего чувства, надѣясь зажечь или заразить имъ желанное сердце. Такъ дѣйствуетъ каждый человѣкъ, понимая, что въ этомъ все дѣло и единственно надежный путь.

Пора примѣнить къ области моральнаго воспитанія ту-же, указанную въ приведенныхъ примѣрахъ, методу. Пора научиться строго различать языкъ нравственной догмы, исхо-

дящій изъ разума, и истинный языкъ нравственнаго руководства, исходящій изъ сердца, — языкъ, по выраженію Бёрне, — „всѣмъ понятный и подобный музыкѣ, въ которой всякій слышитъ себя, слышитъ тихій отвѣтъ на каждый, тихо произнесенный вопросъ“.

II.

Спрашивается, кто-же долженъ заботиться о поднятіи общаго нравственнаго уровня? Кто обязанъ принять на себя великій подвигъ очищенія душъ? — Безъ сомнѣнія, это дѣло не есть исключительный долгъ специалистовъ-педагоговъ, это дѣло есть общая обязанность всѣхъ и cadaго. Это важнѣйшій видъ общественнаго служенія, это высокій постъ государственной службы, который соединимъ со всякимъ званіемъ и положеніемъ cadaго частнаго человѣка. „Не тѣ только служатъ государству, — прекрасно говорилъ Сенека, — которые рѣшаютъ вопросы о войнѣ и мирѣ, судятъ и управляютъ. Вдохновляютъ юность на стремленіе къ добру, формировать изъ ближнихъ ряды друзей добродѣтели, сдерживать

или замедлять жажду мелочныхъ похотей, — вотъ что значить, не выходя изъ области частной жизни, дѣлать великое общественное дѣло“. Нельзя не присоединиться къ этой мысли древняго стоика, нельзя не желать отъ всей души, чтобы каждый отецъ, каждая мать, каждый гражданинъ и каждая женщина свѣта, примкнули къ такой общественной работѣ своимъ вліаніемъ и своимъ примѣромъ хорошей жизни. Напрасно скептицизмъ апатіи и индифферентизма говоритъ намъ устами мольеровскаго Филента:

C'est une folie à nulle autre seconde

De vouloir se mêler de corriger le monde.

Хорошая жизнь есть своего рода художественное творчество, но съ нѣкоторой разницей: мы не можемъ требовать, чтобы всѣ люди были художниками, но мы можемъ желать, чтобы каждый человѣкъ былъ честенъ и создавалъ прекрасную поэму прекрасной жизни. Даръ поэтическаго творчества данъ не каждому, но жизнь есть общее достояніе; творить жизнь есть удѣлъ, одинаковый для всѣхъ. Кто-бы ни былъ человѣкъ, — онъ авторъ драмы, комедіи или водевиля своей жизни.

Но что можетъ сдѣлать отдѣльная личность, совершенно затеривающаяся въ окружающей средѣ, и слабая передъ лицомъ могучей силы окружающей общественной жизни? — Вотъ вопросъ, за который особенно любить прятаться человѣческая лѣньность. „Дѣятельность одного человѣка капля въ морѣ? — восклицаетъ съ негодованіемъ гр. Л. Толстой. — Есть одна индѣйская сказка о томъ, какъ человѣкъ уронилъ дорогую жемчужину въ море и, чтобы достать ее, взялъ ведро и сталъ выливать воду на берегъ. Онъ работалъ такъ не переставая; на седьмой день морской духъ испугался, что человѣкъ осушитъ море, и принесъ ему жемчужину. Если-бы общественное зло порока было море, то и тогда жемчужина, которую мы потеряли, стоитъ того, чтобы отдать всю жизнь на вычерпываніе моря этого зла. Князь міра сего испугается и покорится скорѣе морскаго духа“. Неоднократно и съ любовью останавливался и другой знаменитый писатель земли русской на типахъ „маленькихъ человѣчковъ, серьезно думающихъ, что они своимъ микроскопическимъ дѣйствіемъ и упорствомъ въ состояніи помочь общему дѣлу,

не дожидаясь общаго подъема и почина“. Особенной теплотой согрѣтъ, на примѣръ, рассказъ Достоевскаго о скромномъ и молчаливомъ чиновникѣ, который до того страдалъ душою всю жизнь о крѣпостномъ состояніи людей, что сталъ копить изъ скромнѣйшаго жалованья, отказывая себѣ и семейству почти въ необходимомъ, и, по мѣрѣ накопленія, выкупалъ на волю какого-нибудь крѣпостнаго, — разумѣется, въ десять лѣтъ по одному. „Все это происходило безвѣстно, тихо, глухо...“ Горячее чувство покойнаго писателя къ подобнымъ „маленькимъ людямъ“, нисколько не удивительно; эти мелкіе люди дѣлаютъ крупное дѣло: они — незамѣтные полипы, создающіе незыблемыя твердыни моральнаго прогресса.

Однако-же, — быть можетъ, скажутъ, — нѣтъ ли опасности въ призывѣ всѣхъ людей къ активному воздѣйствию на общій нравственный уровень? Не окажется ли обоюдоострымъ кличъ о стойкости въ дѣлѣ доставанія драгоценной „жемчужины?“ Нравственные идеалы различны; для многихъ „жемчужина“ — полная чаша эгоистическихъ наслажденій; желательна-

ли, чтобы и эти лица приложили свою руку къ дѣлу воспитанія нравовъ? А такъ-какъ современное общество, если вѣрить хроникѣ и литературѣ, состоитъ изъ лицъ дурнаго нравственнаго строя, то возбуждать энергію этого общества не значить-ли ускорять его шаги къ конечной гибели?

Нѣтъ ни одной силы, ни одной идеи, которая не допускала-бы злоупотребленій. Открытіе, сдѣланное на благо человечеству сегодня, уже завтра эксплуатируется злоумышленно. Огнемъ, похищеннымъ для людей Прометеемъ съ неба, и согрѣваютъ, и жгутъ. Общая активность, конечно, должна отразиться и активностью злыхъ элементовъ общества, — но мы отказываемся видѣть въ этомъ бѣду, потому-что отказываемся вѣрить въ преобладаніе дурныхъ силъ, таящихся въ обществѣ, надъ силами добрыми. Мы слышимъ бичъ сатиры, карающей современные пороки, мы читаемъ обличенія печальныхъ явленій текущей жизни, но все же, скорбя душой, мы не впадаемъ въ отчаяніе. Мы вспоминаемъ, что и въ другихъ странахъ, и въ другія времена, сатира дѣлала свое дѣло, а состояніе

общества казалось висящимъ на самомъ краю раскрытой бездны. Руссо неудержимо стремился вырваться на чистый воздухъ изъ-подъ сводовъ цивилизаціи, казавшихся ему невыносимо душными и готовыми рухнуть. Макіавелли, наблюдая окружающую жизнь, говорилъ, что „человѣкъ, желавшій въ тѣ времена быть честнымъ, неизбѣжно долженъ былъ погибнуть въ массѣ громаднаго безчестнаго большинства.“ Еще большей силой дышатъ обличенія нравственныхъ золь эпохи упадка Римской имперіи. Но спрашивается, какимъ-же образомъ, среди всеобщаго будто-бы растлѣнія римскихъ нравовъ, могли возникнуть толпы исповѣдниковъ религіи великой нравственной чистоты и возвышенности? Какимъ образомъ итальянцы, среди которыхъ приобрѣталъ Макіавелли свои пессимистическіе взгляды, оказались достаточно сильными, чтобы противустать своей злосчастной исторической судьбѣ? Какимъ образомъ, общество, породившее мечту Руссо о благоденствіи дикарей, выдержало страшную внутреннюю катастрофу и безпримѣрный внѣшній натискъ?— Дѣло въ томъ, что пороки и слабости составляютъ постоян-

ный тяжелый обозъ прогрессирующаго человечества. Фактъ-же все продолжающейся жизни послѣдняго доказываетъ, что помимо постоянной наличности недостатковъ, жизнь людей заключаетъ въ себѣ внутреннія, скрытыя нравственныя силы.

Проявленія порока выступаютъ какъ-то рѣзче, преступленія вызываютъ больше шума. Но будемъ справедливы и согласимся съ тѣмъ, что, пока мы читаемъ въ „судебной хроникѣ“ описаніе процесса о какомъ-нибудь хищеніи, — десятки скромныхъ рукъ совершаютъ украдкой дѣло милосердія; въ то время какъ происходятъ грабежи, убійства и самоубійства, — тысячи людей въ честномъ потѣ лица зарабатываютъ насущный хлѣбъ, помогаютъ другъ другу, и безвѣстно умираютъ въ тихой семейной средѣ, проникнутой трогательной грустью. Каждому извѣстно, что существуютъ злые люди, но кто изъ насъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, не встрѣчалъ на собственномъ жизненномъ пути и такихъ, которые какъ будто носятъ съ собою атмосферу нравственной чистоты и благородства? Кто не встрѣчалъ женщинъ, скромныхъ героинь домашняго очага, выносящихъ

на своихъ плечахъ бремя жизненныхъ бѣдствій цѣлой семьи, или защищающихъ силою любви свое гнѣздо отъ всѣхъ атакъ людской вражды, болѣзни, даже смерти?— Къ этимъ-то людямъ, главнымъ образомъ, относится призывъ о помощи въ дѣлѣ нравственнаго воспитанія. Желательно, чтобы они выступили на видъ изъ той неизвѣстности, въ которой прячетъ ихъ стыдливая скромность; желательно, чтобы они взяли на себя дѣло дирижированія общою жизнью и отодвинули въ сторону наглую дерзость порока; желательно, чтобы они удвоили свою энергію и обнаружили всю роскошь своей моральной природы; чтобы они подѣлились съ нами тепломъ того огня, который горитъ въ ихъ сердцахъ; чтобы они вышли на дѣятельную пропаганду добродѣтели, вдохновили колеблющихся, просвѣтили незнающихъ, и разнесли-бы съ собою „заразу“ доброты и честности.

Напрасно думать, что они не нашли-бы благодарной почвы для своихъ насажденій. Люди, говоря вообще, очень чутки къ дѣлу нравственнаго уклада своей жизни. Гр. Толстой краснорѣчиво описываетъ дѣйствіе нѣ-

сколькихъ словъ состраданія и любви, произнесенныхъ имъ въ труппѣ ночлежнаго дома: „Точно поле смерти Іезекииля, усыпанное мертвыми костями, дрогнуло отъ прикосновенія духа, и мертвыя кости зашевелились! Я сказалъ необдуманно слово любви и сожалѣнія, и слово это подѣйствовало на всѣхъ такъ, какъ будто всѣ только и ждали этого слова, чтобы перестать быть трупами и ожить. Они всѣ смотрѣли на меня и ждали, что будетъ дальше. Они ждали, чтобъ я сказалъ тѣ слова и сдѣлалъ тѣ дѣла, отъ которыхъ кости-бы эти стали сблизаться, обростать плотью и оживляться“. Кромѣ многихъ духовныхъ причинъ такой восприимчивости, дѣлу могутъ служить нѣкоторыя внѣшнія свойства человѣческой природы. Укажемъ, напримѣръ, на ту естественную подражательность, которая охватываетъ собою широкую сферу различныхъ физиологическихъ возбужденій, обуславливаетъ сходство лицъ, живущихъ долго вмѣстѣ, устанавливаетъ царство моды, и играетъ большую роль въ надеждахъ на будущее у нѣкоторыхъ современныхъ философовъ (*).

(*) Тарль (Revue philosophique, 86, № 10), описывая „будущее нравственности“ послѣ исчезновенія семейной и

III.

Выступая на путь указаннаго выше служенія дѣлу очищенія общественной нравственности, человѣкъ долженъ начинать съ самого себя. „Стрѣла тогда летитъ далеко, когда здорова тетива“. Работа самоусовершенствованія требуетъ возможно большаго напряженія нашей внимательности, устремленной въ глубь насъ самихъ. Уединяясь въ самомъ себѣ, откладывая въ сторону внѣшнюю оболочку, въ которой мы обыкновенно парадирuemъ передъ людьми, намъ нужно опуститься на дно нашей души и разобраться въ пестротѣ живущихъ здѣсь страстей, желаній и стремленій. Взвѣсивъ и тщательно разсмотрѣвъ эти желанія и стремленія, мы соберемъ во-едино тѣ изъ нихъ, которыя почитаемъ нравственно хорошими и слѣдованіе которымъ

религіозной санкціи,—замѣчаетъ: „Честь снова вырастетъ, какъ мы можемъ предчувствовать, изъ дѣйствія подражательности. Эта послѣдняя дѣлаетъ свое дѣло въ области тщеславія, моды; проистекающая отсюда честь поверхностна, но она есть первый шагъ къ чести болѣе солидной, къ тщеславію болѣе глубокому; потребность казаться мало по малу возвысится до потребности быть уважаемымъ“.

каждый разъ отзывается въ нашемъ сердцѣ чувствомъ благородной гордости и удовлетворенной совѣсти. Всякому роду страстей и желаній соотвѣтствуетъ извѣстный родъ направленія мысли, опредѣленный родъ умственныхъ представленій. По этому, когда мы составляемъ въ своей душѣ стройный хоръ изъ голосовъ благородныхъ стремленій, въ нашей мысли, въ то-же время, складывается извѣстный образъ нравственной жизни, извѣстный идеаль добродѣтельнаго человѣка. Этотъ образъ есть *наше порожденіе*. Напрасно думать, будто идеаль добра одинаковъ для всѣхъ людей даже одного времени и одной ступени цивилизаціи; напрасно думать, что христіанская мораль есть нѣчто тождественное у всѣхъ христіанъ. Солнечный свѣтъ одинъ, но въ данномъ мѣстѣ онъ получаетъ розовую окраску, въ другомъ голубую, въ однихъ предметахъ онъ сіяетъ матовымъ свѣтомъ, въ другихъ онъ ярко сверкаетъ. Подобно этому и свѣтъ добра безконечно варьируется въ средѣ человѣческихъ индивидуальностей; христіанство XIX столѣтія не то, что христіанство XIII-го, и христіанство наше не совпадаетъ съ христіан-

ствомъ другаго, даже самаго близкаго къ намъ человѣка. Добродѣтель, выражающаяся въ правилахъ, общихъ для всѣхъ и каждаго, составляетъ лишь „прописную нравственность“; живетъ, дѣйствуетъ и править міромъ только личная мораль.

Создавши, какъ сказано, образъ идеальнаго человѣка изъ нашихъ собственныхъ, особенно дорогихъ и цѣнимыхъ нами свойствъ, намъ остается *преклониться передъ нимъ*, съ восторженнымъ трепетомъ сердца, — подобно греческому художнику, который въ экстазѣ любви упалъ къ ногамъ статуи, созданной его собственнымъ творческимъ гениемъ. Созданный идеаль — это нашъ руководитель, это нашъ образецъ, по которому мы соображаемъ наши поступки и формируемъ нашу волю. Древніе моралисты справедливо совѣтовали человѣку выбрать себѣ „стража души“ и имѣть постоянно передъ духовными очами память объ одномъ изъ тѣхъ благородныхъ людей, въ присутствіи которыхъ проявленія порока какъ-то не логичны и не умѣстны; еще-же лучше выработать и заключить въ самомъ себѣ такого человѣка, передъ лицомъ котораго мы

не рѣшились-бы на дурной поступокъ. При всемъ этомъ, одно, чего должно наиболѣе страшиться, это лживость и лицемеріе, постоянно ищущія случая проникнуть въ нашу душу. Нѣтъ человѣка безнадежнѣе въ нравственномъ отношеніи, чѣмъ тотъ, котораго описывалъ Персій: онъ молится вслухъ о ниспосланіи мудрости и добродѣтели, на ухо-же идолу онъ шепчетъ: „О, если-бы мой питомецъ, котораго я наслѣдникъ, былъ отозванъ на небо!“

Очерченная работа самоусовершенствованія осуществляется и осуществлялась многими героями добродѣтели. Прекрасное доказательство этому мы можемъ найти, напр., въ „Исповѣди“ бл. Августина, въ этой возвышенной исторіи борьбы благочестія съ буйными порывами африканскаго темперамента, или въ „Комментаріяхъ“ Марка Аврелія, гдѣ мы видимъ прекрасную душу, трогательно озабоченную своими слабостями, и призывающую самую себя, въ безмолвіи и уединеніи ночей, къ суду своей совѣсти. Конечно, такая же точно метода самонаблюденія можетъ приводить иногда къ совершенно противополож-

нымъ моральнымъ результатамъ. Возможно, что человекъ, усвоившій себѣ привычку провѣрять свои поступки и заимствовать изъ прошедшаго уроки для будущаго, будетъ предаваться размышленіямъ, въ родѣ тѣхъ, которыя описаны саркастическимъ перомъ Эпиктета: „Не пропустилъ-ли я сегодня сказать полезную лесть? Не обнаружилъ ли я излишней правдивости? Не увлекся-ли излишне щепетильной честностью? Къ чему это? Неужели трудно было солгать?..“ Однако-же, подобныя возможности не ведутъ къ осужденію самой методы. Нашу энергію не могутъ парализировать соображенія о томъ, что оружіемъ, изготовленнымъ для воиновъ Ормузда, воспользуются и воины Аримана, потому-что мы вѣримъ въ перевѣсъ силы перваго надъ силою послѣдняго.

Раздувая такимъ образомъ въ своей душѣ свѣтильню добра и заботливо охраняя ее отъ рѣзкихъ дуновеній порока, мы выступаемъ на болѣе или менѣе широкую арену общенія съ людьми, одушевленные желаніемъ подѣлиться съ ними свѣтомъ и теплотою своего огня. Но, стремясь къ извѣстной цѣли, нуж-

но знать средства и имѣть орудія достиженія этой цѣли. Желая вліять на людей, нужно уяснить, возбудить въ себѣ и воспитать тѣ силы и свойства, которыми осуществляется такое вліяніе. Въ этомъ отношеніи весьма назидательный матеріалъ даетъ намъ разсмотрѣніе грандіозныхъ историческихъ эпизодовъ прошлаго и внимательное изученіе біографій знаменитыхъ личностей, царившихъ надъ своими современниками, вліявшихъ на ходъ событій, или завоевавшихъ себѣ прочное мѣсто въ памяти потомства. Насъ не должно смущать и конфузить сравненіе скромнаго объема нашихъ силъ съ крупнымъ калибромъ дарованій героевъ. Какова-бы ни была количественная разница, между людьми всегда сохраняется единство ихъ человѣческой сущности. Передъ судомъ-же нравственнымъ, человекъ виновенъ не въ томъ случаѣ, если онъ не можетъ сдѣлать больше другихъ, но только тогда, когда онъ дѣлаетъ меньше, чѣмъ можетъ.

И такъ, какими-же средствами своего существа человекъ подчиняетъ себѣ окружаю-

щихъ и вѣдетъ ихъ за собою? — Вмѣсто отвѣта, мы вспомнимъ нѣсколько великихъ именъ.

Благодаря какимъ духовнымъ свойствамъ удалось Магомету всколыхнуть полусонное существованіе обружающихъ людей и дать толчокъ движенію, которое останется памятнымъ въ исторіи трехъ материковъ? Біографы указываютъ въ „пророкѣ Аллаха“ не мало благородныхъ и симпатичныхъ чертъ: склонность къ милосердію и прощенію обидъ, способность питать сильное чувство пріязни къ людямъ, какова напр. любовь его къ Сеиду, къ Али, къ одной изъ женъ — Айеши, и къ дочери Фатимѣ. Далѣе, жизнеописаніе показываетъ намъ его кротость среди мелкихъ дразгъ и недоразумѣній съ женами; его безкорыстіе, такъ какъ онъ, располагавшій судьбами своего народа, не оставилъ послѣ смерти ни одной серебрянной драхмы; затѣмъ, безспорное отсутствіе всякаго тщеславія: когда онъ предложилъ бедуинскому вождю, посѣтившему его однажды, подушку, а самъ сѣлъ на полъ, то удивленный гость замѣтилъ, что пророкъ живетъ не только не по царски, но даже не по княжески.

Всѣ эти добродѣтели, конечно, оказывали свое притягательное дѣйствіе на лицъ, приходившихъ въ ближайшее соприкосновеніе съ Магометомъ, но чѣмъ именно обуславливались широкіе размѣры его вліянія? Что дѣлало его повелителемъ полчищъ и душой разсѣянныхъ племенъ Аравіи? Безъ сомнѣнія, — его глубокое убѣжденіе, что ему поручено Богомъ совершить святое дѣло. Дыша вѣрой въ свое апостольское призваніе, онъ легко, какъ-бы на крыльяхъ энтузіазма, переносился черезъ всѣ препятствія и былъ неуязвимъ предъ лицомъ всевозможныхъ бѣдствій. Твердость шаговъ, увѣренность рѣчи, энергія во взорѣ, производятъ дѣйствіе электрическаго тока. Все робкое становится храбрымъ, нерѣшительное дѣлается отважнымъ, даже безнадежно сонное начинаетъ шевелиться. Дѣятельность личностей, подобныхъ Магомету, краснорѣчиво убѣждаетъ насъ въ томъ, что для вліянія на ближнихъ, нужно имѣть *глубокую вѣру въ святость своего дѣла*, въ чистоту и спасительность преслѣдуемыхъ цѣлей.

Второй примѣръ. Въ концѣ XV вѣка, одинъ человекъ перевернулъ въ три года

весь внутренній и внѣшній бытъ Флоренціи: изящная и изнѣженная республика обратилась разомъ въ пуритански-суровую общину. Этотъ человекъ былъ скромный монахъ, съ блѣднымъ лицомъ, орлинымъ носомъ и голубыми глазами, оттѣненными длинными рѣсницами. Его звали Савонаролла. Что же дало ему такую силу? — Онъ говорилъ, онъ проповѣдывалъ съ церковной кафедры. Его орудіемъ была сила слова. Людямъ XIX вѣка, привыкшимъ къ лживости печатной рѣчи и къ „звенящей мѣди“ парламентскаго и судебного краснорѣчія, кажется удивительнымъ такое могущество слова. Но краснорѣчіе Савонароллы имѣло свойства, далекія отъ нынѣшнихъ трибунъ. Вотъ нѣсколько образчиковъ его проповѣдей. Въ моментъ угрожающаго нашествія Карла VIII, Савонаролла говорилъ: „Флоренція, что съ тобою? Хочешь ли, несчастная, я скажу тебѣ. Ты переполнилась беззаконіемъ, — готовься же къ великой карѣ. Господи, ты самъ видишь, что я стараюсь поддержать эту падающую развалину, но одного слова моего мало, а больше я ничего не могу. Помоги ты, Господи. Развѣ ты не

видишь, что мы становимся позоромъ міра. Сколько разъ я призывалъ тебя! Сколько слезъ, сколько молитвъ! Гдѣ же провидѣніе твое, гдѣ же правосудіе, гдѣ же милосердіе твое? О, простри намъ всемогущую руку твою! Я же не могу, не въ силахъ больше ничего сдѣлать. Мнѣ остается только плакать, я не въ силахъ даже говорить“!.. Иногда къ требованіямъ покаянія, проповѣдникъ присоединялъ угрозы: „О Италія, о Римъ! Я отдамъ васъ въ руки людей, которые сотрутъ васъ съ лица земли. Я посѣю между вами чуму, такую страшную, что отъ нея никто не убѣжитъ. Въ городѣ ничего не будетъ слышно, кромѣ похоронныхъ криковъ: „мертвыхъ, мертвыхъ! У кого мертвые, — вносите за ворота!“ Толпа людей выйдетъ изъ своихъ домовъ: вотъ мой сынъ, мой мужъ, мой братъ. И выроютъ огромныя ямы, чтобы закопать эти трупы. Потомъ тѣ же люди обѣгаютъ снова улицы и опять закричатъ: „нѣтъ-ли еще у кого мертвыхъ, у кого мертвые?“ И умалются ряды гражданъ, травкою заростутъ улицы, лѣсами покроются дороги, Италія наполнится варварами и чужестранцами“.... Особенной

энергіей звучать рѣчи противъ развращеннаго духовенства: „Что-же ты, Господи! что-же ты медлишь! Рази, рази! Освободи святую церковь отъ этихъ демоновъ. Или можетъ быть ты уже забылъ свою церковь и пересталъ заботиться о ней? Но вѣдь она твоя невѣста! Развѣ ты не узналъ ее? Вѣдь это та самая церковь, для которой ты сошелъ на землю, воплотился, для которой ты перенесъ столько поруганій, для которой, наконецъ, ты пролилъ свою кровь на крестѣ“.

Чуткое ухо слышитъ въ этихъ рѣчахъ многое, чего лишено современное краснорѣчіе, въ которомъ мелкая личность оратора кричитъ о себѣ, и въ которомъ великія идеи и святые слова выдвигаются мертвой ширмой для постороннихъ, часто постыдныхъ, соображеній. Въ рѣчахъ Саванароллы било влеченіемъ неподдѣльное чувство. Эразмъ Роттердамскій, бывавшій во Флоренціи, говоритъ, что знаменитый проповѣдникъ не помнилъ себя на кафедрѣ: онъ, то падалъ на колѣни и начиналъ среди проповѣди молиться, что вдругъ переходилъ къ слезамъ и, казалось, весь готовъ былъ излиться въ эту минуту

святаго увлеченія. Часто случалось, что онъ обрывалъ проповѣдь на самомъ интересномъ мѣстѣ,—это было тогда, когда ему приходила на память вся нравственная порча, заражавшая Италію и римскій дворъ: онъ, казалось, вдругъ нѣмѣлъ при воспоминаніи объ этой страшной гидрѣ... Благодаря такимъ свойствамъ, его слово находило людей, готовыхъ слушать. Въ отвѣтъ на проповѣдь о несправедливо нажитомъ богатствѣ, граждане возвращали сомнительно приобрѣтенныя суммы; въ отвѣтъ на обличеніе роскоши, женщины спѣшили сбросить съ себя драгоценныя вещи... Дѣятельность Саванароллы говоритъ намъ о необходимости *сильно чувствовать, чтобы сильно вліять на людей.*

Третій примѣръ. Было-бы ошибочно считать Наполеона I только счастливымъ генераломъ, или баловнемъ судьбы, выдвинутымъ прихотливымъ оборотомъ жизни. Въ всякаго сомнѣнія, его личность заключала въ себѣ черты „героя“. Въ противномъ случаѣ, за нимъ не шли-бы современники, онъ не сталъ-бы предметомъ восторженныхъ легендъ, его судьба не вдохновляла-бы поэтовъ, и нашъ

Пушкинъ не привѣтствовалъ-бы его кончину восклицаніемъ: „міръ опустѣлъ!“ Уже самые походы Наполеона не представляются простыми маршами и контр-маршами. Это былъ волшебный вихрь, пронесившійся по Европѣ: карету императора окружали адъютанты, штальмейстеры, пажи, ординарцы, мамелюкъ Рустанъ, конвой, — и все это неслоь днемъ и ночью, по 40 и 50 верстъ безъ отдыха: все это мчалось въ жаръ, въ пыль и дождь, по гололедицѣ и въ туманѣ, выбиваясь изъ силъ, только-бы заслужить благосклонный взглядъ своего повелителя. Обаяніе было такъ велико, что много лѣтъ спустя, при восстановленіи имперіи Наполеономъ III, „по всѣмъ европейскимъ арміямъ, — какъ замѣчаетъ Делоръ, — пробѣжалъ электрическій ударъ: усы закручивались, перья на каскахъ какъ будто стали выше, и сабли стали еще длиннѣе волочиться по мостовой“.

Чѣмъ-же обуславливалось такое чарующее вліяніе на всѣхъ? Біографы иногда пытаются указать въ нравственной фізіономіи Наполеона довольно темныя черты: его двоедушіе, его религіозный индифферентизмъ, позволяв-

шій ему, смотря по надобности, называть папу „святѣйшимъ отцомъ“ или „старой лисицей“, а также превозносить христіанство, или хвалиться (въ Египтѣ) тѣмъ, что „опрокинулъ крестъ“. Далѣе, упоминають о жестокомъ растрѣяніи 2,500 плѣнныхъ въ Яффѣ, и приводятъ его слова, будто-бы сказанныя имъ Таллейрану: „Знайте, что я никогда не побоюсь сдѣлать подлость, если она мнѣ полезна, да и нѣтъ ничего въ мірѣ благороднаго или низкаго“. Такія обвиненія находятъ себѣ противувѣсь въ другихъ свидѣтельствахъ. Едва-ли можно сомнѣваться въ его честности, даже въ то время, когда онъ былъ еще простымъ чиновникомъ, и когда онъ самъ говорилъ: „я могъ-бы жить въ стеклянномъ домѣ“. Далѣе, его бережливость, выступавшая между прочимъ въ заботливости, съ какою онъ обдумывалъ, взвѣшивалъ и урѣзывалъ ежегодный бюджетъ своего дома. Затѣмъ, его способность къ искреннимъ душевнымъ движеніямъ, подобнымъ тому, которое выразилось у него горестнымъ воплемъ у носилокъ смертельно раненнаго Ланна: — „Ланнъ, другъ мой, узнаешь-ли ты меня? Это я... это импе-

раторъ... это другъ твой Бонапартъ!..“ Далѣе, его воздержанность („я не созданъ для удовольствій!“), и качества хорошаго семьянина, выразившіяся, между прочимъ, въ комическомъ разговорѣ съ г-жею Сталь.

— Генераль, — обратилась къ нему однажды на балу писательница, въ надеждѣ услышать любезность изъ устъ великаго человѣка, — какая женщина правится вамъ больше всѣхъ?

— Моя жена, — отвѣчалъ Наполеонъ.

— Это очень естественно, но какая женщина, по вашему мнѣнію, заслуживаетъ наибольшаго уваженія?

— Та, которая занимается своимъ хозяйствомъ.

— Я понимаю и это, но скажите, какой женщинѣ вы отдаете первенство?

— Той, у которой больше дѣтей.

Но, помимо такихъ свойствъ своей духовной природы, Наполеонъ I неотразимо дѣйствовалъ на людей непоколебимой увѣренностью въ свою звѣзду и неудержимой стремительностью въ осуществленіи своихъ цѣлей. Правда, конечныя цѣли его дѣятельности

никогда не формулировались у него съ достаточной ясностью и опредѣленностью; онѣ смутно очерчивались передъ нимъ лишь въ видѣ какого-то полу-феодалнаго порядка, гдѣ Франція должна составить лишь одну изъ провинцій. Но за то трудно имѣть болѣе, чѣмъ у него, зоркости по отношенію къ ближайшимъ цѣлямъ и обружающимъ людямъ. Во всѣхъ вещахъ онъ направлялся прямо къ сущности; когда рѣчь заходила, напр., о чьей-нибудь болѣзни, его первымъ вопросомъ было: „умретъ онъ?“ Замѣчательная концентрація вниманія служила ему залогомъ успѣховъ. Его настойчивость не знала предѣловъ; онъ не терпѣлъ стѣсненія; всякая воляность правилась ему, какъ побѣда, и онъ во всю жизнь, какъ замѣчаетъ г-жа де-Ремюза, ничего не хотѣлъ уступить даже грамматикѣ. Могучая оригинальность и рельефность его индивидуальности вырывалась изъ всякихъ путъ приличія, установленныхъ обычаевъ и приемовъ: „все это, говорилъ онъ, выдумки дураковъ, чтобы хотя нѣсколько приблизиться къ умнымъ людямъ, — нѣчто въ родѣ общественнаго намордника, который стѣсняетъ

сильнаго и помогаетъ только посредственно-сти“. Толкаемый богатствомъ своей природы къ постоянной активности, онъ побуждалъ къ такой-же дѣятельности всѣхъ и все; сознавая это, онъ сказалъ: „когда я умру, вселенная скажетъ съ облегченіемъ: Ouf!“

Такимъ образомъ, если въ образѣ Магомета мы постигаемъ важное значеніе вѣры въ святость дѣла, если въ образѣ Саванароллы выясняется сила горячаго чувства, то дѣятельность Наполеона I говоритъ, что могучимъ орудіемъ вліянія на людей можетъ служить намъ ярко-очерченная оригинальность нашей личности и *безтрепетная увѣренность въ собственныя силы.*

Четвертый примѣръ. Чѣмъ объясняется рѣдкая популярность, окружающая въ настоящее время имя Бисмарка? Обратимся къ фактамъ, собраннымъ въ запискахъ Буша, приближеннаго и колѣно-преклоненнаго нѣмца, котораго германскій канцлеръ нерѣдко, съ лаской, называлъ: Büschlein (Бушенька). Въ духовномъ обликѣ Бисмарка прежде всего выступаетъ чувство религіозности и любовь къ отечеству, точнѣе, — къ извѣстной полити-

ческой формѣ его бытія. Высказываясь объ этомъ, и въ частныхъ бесѣдахъ, и въ публичныхъ рѣчахъ, онъ говорилъ: „Нѣмецъ знаетъ, что кто-то есть еще, который меня видитъ даже тогда, когда не видитъ лейтенантъ. Это — чувство, настроеніе, инстинктъ; когда о немъ разсуждаютъ, оно исчезаетъ... Я не понимаю, какъ можно жить безъ вѣры въ откровенную религію, въ Бога, творящаго добро, въ высшаго судью и будущую жизнь, — и дѣлать свое дѣло и воздавать каждому должное. Если-бы я пересталъ быть христианиномъ, я не оставался-бы ни одной минуты на своемъ посту. Если-бы я не надѣялся на моего Бога, то я ставилъ-бы ни вочто земныхъ царей. Я могъ-бы отлично жить и былъ-бы чрезвычайно доволенъ. Зачѣмъ-бы мнѣ было утомляться неустанной работой въ этомъ мірѣ, подвергать себя непріятностямъ, если-бы я не чувствовалъ, что долженъ исполнять мой долгъ относительно Бога?.. Если мы отнимемъ религіозное основаніе отъ государства, то получимъ вмѣсто послѣдняго только случайный агрегатъ правъ, войну всѣхъ противъ всѣхъ — понятіе выставленное нѣкогда

философіей. Его законодательство не будетъ уже возникать изъ источника вѣчной правды, но изъ шаткихъ и неопредѣленныхъ понятій гуманности. Если-бы я долженъ былъ себѣ вообразить еврея, какъ представителя помазанника Божія, его величества короля, которому я долженъ былъ-бы подчиняться, то признаюсь, я чувствовалъ-бы себя глубоко угнетеннымъ и приниженнымъ, и тогда вполнѣ-бы исчезли радость и прямодушное чувство чести, съ которымъ я теперь стараюсь исполнять мои обязанности относительно государства“.

Изъ приведенныхъ словъ мы видимъ, что религіозность Бисмарка есть не столько родникъ любви и милосердія къ ближнимъ, сколько суровая дисциплина, вносящая порядокъ въ среду непокорныхъ силъ души; не столько источникъ міровой симпатіи и скорби, сколько желѣзная скрѣпа государственнаго зданія; религіозность, вполнѣ соотвѣтствующая человеку, который во всей мифологіи признаетъ одного Плутона, за его „quos ego“. Такой характеръ вѣрованій объясняетъ собою и весь строй нравственной фізіономіи знаменитаго

политика. Здѣсь нѣтъ возвышеннаго подъема и сердечной мягкости, соединяемыхъ обыкновенно съ представленіемъ о добродѣтельномъ человѣкѣ. О Тьерѣ Бисмаркъ замѣтилъ, что онъ „дѣльный и вѣжливый человѣкъ, но сентименталенъ, а потому не только не годится въ дипломаты, но даже и въ лошадиные барышники“. А. Гумбольдтъ, въ его глазахъ, „болтливый и наскучливый старикъ“. Политика, по его мнѣнію, „не обязана руководствоваться нравственными соображеніями; во всѣхъ случаяхъ она можетъ только ставить вопросъ: въ чемъ заключается здѣсь выгода моей страны? Душевныя-же движенія въ области политическихъ расчетовъ имѣютъ такъ-же мало права гражданства, какъ и въ области торговли“. Бисмаркъ легко мѣняетъ тактику и фронтъ; „нужно, говорилъ онъ Ж. Фавру, сообразоваться съ обстоятельствами: „la patrie veut être servie et pas dominée“ (на что французскій дипломатъ возразилъ: „Néanmoins c'est un beau spectacle de voir un homme, qui n'a jamais changé ses principes“). Иногда нравственно-политическія возрѣнія Бисмарка приводятъ къ словамъ и поступ-

камъ, которые получаютъ окраску цинизма и жестокости. Однажды, въ разговорѣ съ однимъ германскимъ владѣтельнымъ княземъ, онъ „совершенно хладнокровно пояснилъ на ниже-нѣмецкомъ нарѣчїи, что цыпенку, котораго мы сами высидѣли, мы съумѣемъ свернуть шею“. Во время послѣдней войны, онъ кричалъ плѣннымъ вольнымъ стрѣлкамъ: „Vous serez tous pendus, vous êtes des assassins!“ Въ ту-же войну онъ говорилъ о французскихъ священникахъ, участвовавшихъ въ сопротивленїи: „ихъ надо вѣшать съ утчивостью, соблюдаемой до послѣдней ступени висѣлицы“. О правилахъ женевской конференціи („Красный крестъ“) онъ высказывался откровенно, что „они, конечно, никакого практическаго значенія имѣть не могутъ“. Говоря о чиновникахъ, назначенныхъ въ занятія французскія провинціи, онъ замѣчалъ: „они могутъ дѣлать глупости, лишь бы въ общемъ дѣйствовали энергично“. Когда одинъ военный докторъ не рѣшался воспользоваться птицей въ занятомъ французскомъ дворѣ, онъ воскликнулъ съ гнѣвной насмѣшкой и презри-

тельной провїей: „Онъ говоритъ, что не имѣетъ права!“

Само собою ясно, что дѣятельность германскаго канцлера не можетъ снабдить насъ назиданїями моральнаго характера, но эта дѣятельность говоритъ намъ о значенїи *желѣзной воли и находчивости среди всевозможныхъ обстоятельствъ*; эти силы приложимы и на иномъ полѣ дѣйствїя, не политомъ человѣческой кровью.

Позволимъ себѣ еще одинъ примѣръ. Вспомнимъ благородную личность человѣка, который завоевалъ себѣ память въ потомствѣ, безъ всякой помощи внѣшнихъ обстоятельствъ, безъ преимуществъ происхожденія, безъ связей и безъ богатства. Мы говоримъ о Песталоцци, который на скромномъ поприщѣ педагогіи приобрѣлъ уваженіе монарховъ и сердечную благодарность отечества, изобразившаго на его памятникѣ трогательную надпись: „человѣкъ, христіанинъ и гражданинъ —ничего для себя и все для другихъ“. Чѣмъ же совершенна такая побѣда?—Сильнымъ желанїемъ и любовью. Еще будучи юношей, онъ писалъ: „мнѣ не къ лицу порицать, совер-

шать реформы и пр., — но могу-же я желать? Кто может запретить мнѣ это?" И онъ *желалъ* всѣми силами своей души, всѣми фибрами своего сердца. „Мнѣ-бы хотѣлось, — говорилъ онъ, — чтобы каждый честный человѣкъ потрудился образовать хоть одного такого-же, — тогда число честныхъ людей удвоилось-бы сразу“. Ему страстно желалось пригрѣть несчастнаго: „всякій угнетаемый бѣднякъ, — мечталъ Песталоцци въ письмахъ къ невѣстѣ, — найдетъ у меня кровь, и пока у меня будетъ кусокъ хлѣба, онъ будетъ и у него; я самъ буду пить воду и отдамъ ему молоко“. Особенно горячо хотѣлось ему приютить подъ своею защитою сиротъ. „Когда я увижу ребенка, у котораго можетъ быть великая душа и нѣтъ пищи, я возьму его къ себѣ и сдѣлаю изъ него гражданина“.

Видѣвшіе Песталоцци въ глубокой старости свидѣтельствуютъ о томъ, что онъ сохранилъ и въ это время свое неуывдаемое исканіе и жажду добра. На пути такого любовнаго желанія онъ достигъ душевнаго благополучія, не смотря на постоянныя аттаки нужды и прочихъ жизненныхъ бѣдствій. „Я училъ, —

говорилъ онъ, — моихъ дѣтей (т. е. дѣтей, помѣщенныхъ въ устроенныхъ имъ воспитательныхъ заведеніяхъ), я помогаль имъ, я говорилъ съ ними: ихъ глаза смотрѣли въ мои, ихъ руки хватались за мою, когда встрѣчалась надобность въ поддержкѣ. Ихъ слезы сливались съ моими слезами, когда они плакали; моя улыбка встрѣчала ихъ смѣхъ, когда имъ было весело... Я не зналъ системы, приемовъ, кромѣ тѣхъ, которые основывались на любви дѣтей ко мнѣ, и не хотѣлъ знать. Я вѣрилъ въ то, что убѣжденіе въ моей искренней, сердечной любви къ нимъ, измѣнитъ къ лучшему моихъ дѣтей такъ-же скоро, какъ измѣняетъ солнце поверхность почвы, застывшей въ холодную, непривѣтливую зиму“. Едва-ли кто-нибудь могъ сказать съ большимъ правомъ, чѣмъ Песталоцци, слѣдующее: „любовь, какъ я убѣдился изъ опыта, можетъ подчинять себѣ личныя силы людей и объединять ихъ на служеніе пользамъ ближнихъ. *Когда любовь искренна и не боится креста—у нея чудодѣйственная сила*“.

Не будемъ продолжать перечисленіе примѣровъ, изъ которыхъ человекъ, желающій

оказывать благое вліяніе на ближнихъ, можетъ почерпнуть полезный совѣтъ и назиданіе. Мы сказали выше, что такое морализующее вліяніе есть великое общественное, служеніе, доступное въ извѣстной степени каждому, самому простому смертному. Но, конечно, размѣры этого благороднаго служенія становятся шире и крупнѣе, если человѣкъ обладаетъ какими-нибудь исключительными дарованіями и выдающимися талантами. Сильный творческій геній, богатый художественный талантъ, даютъ возможность такому человѣку, — какъ мы увидимъ въ слѣдующей главѣ, — щедрой рукой разсыпать вокругъ себя сокровища своей природы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Графъ Л. Н. Толстой.

Quand une lecture vous élève l'esprit, et qu'elle vous inspire des sentiments nobles et courageux, ne cherchez pas une autre règle pour juger de l'ouvrage, il est bon et fait de main d'ouvrier.

La Bruyère.

I.

Дѣятельность графа Толстаго наилучшимъ образомъ доказываетъ важность воспитательной роли писателя, которому богатство дарованій даетъ возможность являться нашимъ наставникомъ, и будить заржавѣвшія струны нашей души. Къ сожалѣнію, эта дѣятельность не нашла себѣ пока достойныхъ оцѣнщиковъ и истолкователей *). Правда, сочиненія графа

*) Мы не касаемся произв. гр. Л. Толстаго богословскаго содержанія, которыя послужили предметомъ разбора во многихъ изъ нашихъ духовныхъ журналовъ.

Толстаго (особенно двѣнадцатый томъ, составляющій, впрочемъ, логическое продолженіе всѣхъ предыдущихъ) были предметомъ многихъ разсужденій въ литературѣ послѣдняго времени; но эти разсужденія, за немногими исключеніями, служатъ скорѣе къ затемненію, чѣмъ къ разъясненію благороднаго образа комментируемаго мыслителя-художника. Эти разсужденія дышатъ холодомъ, составляющимъ контрастъ съ теплотою отношенія къ нашему беллетристу со стороны многихъ иностранныхъ критиковъ. Назовемъ между послѣдними, напр., Ренувье, который съ гнѣвомъ нападаетъ на французскаго переводчика „Войны и мира“ за пропускъ философской части романа, и заключаетъ одну изъ своихъ статей о послѣднихъ произведеніяхъ графа Толстаго слѣдующими словами: „J'ai voulu rendre hommage au grand romancier, l'un de ceux de notre époque qui ont mis dans la peinture de la vie et l'observation des caractères plus de profonde psychologie et de morale que beaucoup de philosophes dans leurs systemes“. По всей вѣроятности, упомянутая холодность объясняется „національной чертой“, столь вы-

соко превозносимой Базаровымъ: „Русскій человекъ, говорилъ онъ, только тѣмъ хорошъ, что онъ самъ о себѣ пресквернаго мнѣнія“.

Ошибка даже наиболѣе добросовѣстныхъ рецензій заключается въ томъ, что онѣ относятся къ не-беллетристическимъ сочиненіямъ гр. Толстаго, какъ къ специально-ученымъ трактатамъ. Между тѣмъ, эти сочиненія отнюдь не объективно-научныя изслѣдованія; они совсѣмъ не похожи на диссертации, которыя пишутся для полученія ученой степени, и въ которыхъ авторы стараются о возможно болѣшей неуязвимости построенія и о возможно болѣшей маскировкѣ слабыхъ мѣстъ. Въ сочиненіяхъ гр. Толстаго передъ нами прямодушныя изліянія сердца, откровенный автобіографическій разсказъ, гдѣ развитіе мыслей идетъ не логически-прямолинейно, а разными путями чувствованія, сомнѣнія, размышленія и творчества. Если мы станемъ на эту точку зрѣнія, то необходимо признаемъ, что чисто-сердечная исповѣдь нашего писателя („Мысли, вызванныя переписью“) сохранить навсегда первостепенное значеніе на ряду съ другими знаменитыми „исповѣдями“, — М. Ав-

релія, бл. Августина, Ж. Ж. Руссо, Д. С. Милля, и пр. Въ трогательныхъ признаніяхъ гр. Толстаго мы видимъ великое исканіе Бога; въ нихъ слышится страстный порывъ къ нравственной чистотѣ; въ нихъ звучитъ презрѣніе человѣка къ себѣ, какъ совокупности слабостей и пороковъ, и, въ тоже время, высокое уваженіе къ собственной личности, какъ къ образу и подобію высшаго добра и моральной красоты.

Нѣкоторые критики наивно полагаютъ, что гр. Толстой задался жгучими вопросами, тревожимый страхомъ смерти. Но эти вопросы не результатъ трусливыхъ опасеній пожилаго человѣка, а глубокое раздумье о смыслѣ прожитаго; эти вопросы совсѣмъ не новы для нашего художника-мыслителя: „юноша“, изображенный имъ десятки лѣтъ тому назадъ („Дѣтство“ и пр.) уже тревожился тѣми-же тревогами и печалился тѣми-же печальми. Въ настоящее время мы видимъ лишь новый приливъ стародавнихъ думъ и страданій, новый порывъ въ излюбленную издавна высь моральнаго совершенствованія. Стремясь перешагнуть линію, отдѣляющую то, что есть, отъ

того, что должно быть, гр. Толстой понимаетъ, что нужно проникнуться любовью къ этому должному, ибо, какъ справедливо говорить цитируемый имъ текстъ Писанія: „гдѣ сокровище наше, тамъ и будетъ сердце наше“. И онъ старается соблазнить и увлечь самого себя идеаломъ добра, которому его могучій талантъ придаетъ сверкающій вѣнецъ изъ алмазовъ чистѣйшей воды. Чувствуя на себѣ проказу застарѣлой грѣховности, онъ ищетъ силоамскую купель, онъ идетъ въ толпу отверженныхъ, — и благородное чувство „виновности“ подавляетъ его; ему тяжело бремя незаслуженныхъ, какъ кажется его искреннему смиренію, даровъ судьбы. Онъ пылаетъ желаніемъ помочь ближнимъ, поднять упавшихъ, возвести ихъ на одинъ уровень съ собою, но тотчасъ-же исполняется сомнѣніемъ въ самомъ себѣ и ужасомъ предъ собственнымъ нравственнымъ положеніемъ, которое оказывается, передъ судомъ его строгой совѣсти, далеко не высокимъ. „Такъ жить, какъ я живу, нельзя, нельзя, и нельзя!..“ Мы читаемъ эти строки съ душевнымъ трепетомъ, такъ-какъ намъ ясно, мы чувствуемъ, мы ви-

димъ, что онѣ диктованы сердцемъ, упавшимъ отъ гнетущаго открытія, сердцемъ, преисполненнымъ того, что въ старину называлось „страхомъ Божиимъ“. Суровая рѣчь самообличенія не знаетъ пощады и изворотовъ оправдательныхъ софизмовъ; она наноситъ ударъ за ударомъ, она язвитъ насмѣшкой; сарказмъ и иронія попеременно пускаютъ въ ходъ свой ядъ и свое жало. Въ одномъ и томъ-же человѣкѣ происходитъ жаркая битва между сторонникомъ добра и представителемъ обиходной пошлости, сговорчивости, лжи и нечестія. „Кто такой я, тотъ, который хочетъ помогать людямъ? Я хочу помогать людямъ, и я, разслабленный, изнѣженный, требующій помощи и услугъ сотенъ людей, прихожу помогать кому-же? Людямъ, которые, и силой, и выдержкой, и искусствомъ, и воздержностью во сто разъ сильнѣе меня, и я имъ прихожу помогать! Что-же, кромѣ стыда, я и могъ испытывать, входя въ общеніе съ этими людьми? Самый слабый изъ нихъ — пьяница, житель Ржанаго (ночлежнаго) дома, тотъ, котораго они называютъ лѣнтяемъ, во сто разъ трудолюбивѣе меня„.

Нужно имѣть поистинѣ тугое ухо, чтобы не слышать силу искренности признаній гр. Толстаго; нужно обладать большой наивностью, чтобы надѣяться пошатнуть довѣріе людей къ этой искренности какими-нибудь „архивными справками“, объ отношеніяхъ нашего моралиста къ его бывшимъ крестьянамъ, или о способѣ продажи его сочиненій, и пр. Подобные труды потрачены напрасно: горячее слово правдивой души не боится даже цифры ядовитаго подвоха. Выдвигая такія „арифметическія“ или „рублевья“ обвиненія, нужно придерживаться хотя-бы „арифметической“ справедливости, которая требуетъ принятія во вниманіе всѣхъ слагаемыхъ, всѣхъ причинъ, обусловливающихъ данное дѣйствіе. Конечно, эти требованія справедливости знакомы теоретически всѣмъ, но дѣло въ томъ, что умъ человѣческій, ученый, какъ и не ученый, склоненъ на практикѣ слѣдовать внушеніямъ страстей, возноситься вслѣдъ за ними къ небу, или ползать вмѣстѣ съ ними по землѣ.

Нѣкоторые изъ критиковъ, позволяя себѣ неумѣстный ироническій тонъ, замѣчаютъ: „Удивительное чутье у Л. Н. Толстаго! Онъ

нашелъ, что умственный трудъ подавляетъ русское общество и спѣшить возстать противъ господства головной работы!.. Необычайное сочувствіе ученію гр. Толстаго объясняется потворствомъ этого ученія бездѣйствию и невѣжеству“.

Но тотъ, кого Тургеневъ называлъ „великимъ писателемъ земли русской“, далекъ отъ обскурантизма. Онъ возстаетъ не противъ науки и искусства, а противъ мнимыхъ правъ, присвоиваемыхъ себѣ людьми, подъ предлогомъ занятія науками и искусствами. „Науки и искусства, говоритъ онъ, прекрасныя вещи, но именно потому, что онѣ прекрасныя, ихъ не надо портить обязательнымъ присоединеніемъ къ нимъ разврата, т. е. освобожденія себя отъ обязанности человѣка участвовать непосредственно въ общей борьбѣ человѣчества съ природой“. Нынѣшняя наука и искусство, какъ справедливо кажется ему, тяготеютъ къ деньгамъ, ихъ любимое мѣстопробываніе среди сильныхъ и богатыхъ міра сего. Со словами „свобода, равенство и братство“ на устахъ, они составляютъ въ сущности, порожденіе платоновскаго „раздѣленія

труда“, и всей душой стремятся къ осуществленію ученій Аристотеля о счастливой жизни „лучшихъ людей“ на счетъ остальной массы, имѣющей удѣломъ „матеріальный трудъ“. Ютятся на соціальныхъ высотахъ и дорожа своимъ привилегированнымъ положеніемъ, люди „свободныхъ профессій“ теряютъ смыслъ своего широкаго призванія и поглощаются заботами служить тѣсному кружку празднолюбцевъ, забавлять его и спасать отъ удручающей скуки.

Гр. Толстой не врагъ знанія; онъ печалится не о томъ, что Россія переполнена будто-бы безкорыстнымъ служеніемъ истинѣ, но, напротивъ, онъ скорбитъ о злоупотребленіи священнаго имени науки, ради низменныхъ вождельній. И эту скорбь нельзя не считать вполне основательной. Люди, имѣвшіе случай наблюдать вблизи толпу, ломающуюся въ двери учебныхъ заведеній, не могутъ отрицать того, что движущимъ стимуломъ часто служитъ здѣсь не „любовь къ наукѣ“, а неудержимое стремленіе захватить упомянутое выше привилегированное положеніе, вырвать счастливый жребій въ лотереѣ общест-

веннаго „раздѣленія труда“, и переступить линію, отдѣляющую классъ „господъ“ отъ презираемой массы „людей матеріальнаго труда“. Жажда знанія здѣсь часто маскируетъ лишь жажду диплома и казеннаго содержанія. Даже среди спеціалистовъ науки и литературы безкорыстное служеніе Аполлону и музамъ не составляетъ общаго девиза; ихъ жизнь и дѣятельность преисполнена мелкой борьбы самолюбій, соперничества, личныхъ счетовъ, а не дружныхъ усилій къ достиженію истины, которая должна бы составлять ихъ общую, любимую цѣль.

Гр. Толстой, будучи самъ художникомъ и писателемъ, не можетъ отрицать серьезное значеніе этого рода дѣятельности. Его „теоретическіе“ взгляды не идутъ въ разрѣзъ съ его знаменитой „практикой“; напротивъ, эта послѣдняя служитъ вѣрнымъ выраженіемъ идеала, который очерчивается имъ въ слѣдующихъ чертахъ: „Если люди дѣйствительно призваны къ служенію другимъ духовной работою, то они въ этой работѣ будутъ видѣть только обязанность и съ трудомъ и самоотверженіемъ будутъ исполнять ее. Мыслитель

и художникъ долженъ страдать вмѣстѣ съ людьми для того, чтобы найти спасеніе или утѣшеніе. Кромѣ того онъ страдаетъ еще потому, что онъ всегда — вѣчно въ тревогѣ и волненіи: онъ могъ рѣшить и сказать то, что дало-бы благо людямъ, а онъ не такъ сказалъ, не такъ изобразилъ какъ надо; онъ все не рѣшилъ и не сказалъ, а завтра можетъ будетъ поздно — онъ умретъ“. Такимъ образомъ, удары гр. Толстаго направлены не противъ мыслителей и художниковъ вообще, а только противъ, — во первыхъ, — непризванныхъ писателей, о которыхъ Ла-Брюйеръ говоритъ: „Человѣкъ хочетъ писать, безъ всякаго внутренняго влеченія къ этому. Зачѣмъ? Для чего?—Ему нужно пятьдесятъ пистолей. — Возьмитесь лучше за пилу, рубите дрова, вы добудете пропитаніе. — Нѣтъ, онъ хочетъ печатать, а такъ-какъ нельзя послать въ типографію чистую тетрадь, то онъ мараетъ бумагу, рассказывая на ней, что Сена течетъ въ Парижѣ, что въ недѣлѣ семь дней, и пр.“ Во-вторыхъ, обвиненіе гр. Толстаго направляется противъ „гладыхъ, жирующихъ и самодовольныхъ“ личностей, которыя поста-

вляють товаръ согласно требованіямъ моды и претворяють свои „содержанія“ или „ренты“ въ томы quasi-соціологическаго и иного вздора, завоевывающаго себѣ грошовой еиміамъ кружковой похвалы. Словомъ, гр. Толстой возстаєтъ съ благороднымъ негодованіемъ противъ паразитовъ, далекихъ отъ пониманія того, что „духовная дѣятельность и выраженіе ея, дѣйствительно нужны для другихъ, есть самое тяжелое призваніе человѣка, — крестъ, какъ выражено въ Евангеліи“.

II.

Указанное выше, великое „исканіе Бога“ служить для гр. Толстаго общимъ нравственнымъ фономъ, на которомъ выступаетъ его идеаль надлежащей жизни. Этотъ идеаль слагается изъ слѣдующихъ чертъ.

Первое положеніе: *„не мать ни передъ людьми, ни передъ самимъ собою*, причемъ эта послѣдняя ложь есть самая худшая; обманъ и ложь передъ другими, по своимъ результатамъ ничто, въ сравненіи съ той ложью передъ самимъ собою, на которой мы строимъ свою жизнь“.

Одаренный завиднымъ талантомъ выражать свои мысли и чувства не только словами, но и живыми образами, гр. Л. Н. Толстой не ограничивается отвлеченнымъ изображеніемъ нравственной низости лжи; онъ раскрываетъ ее передъ нами въ дѣйстви, въ ея потайной работѣ въ живомъ организмѣ общежитія. Онъ рассказываетъ намъ исторію одной жизни, „самой простой и обыкновенной, и самой ужасной“ — ужасной именно потому, что она такъ проста и обыкновенна: ею живетъ громадное большинство интеллигентнаго класса („Смерть Ивана Ильича“). Ложь проникаетъ эту жизнь до дна, ложь выѣдаетъ все ея внутреннее содержаніе до самой верхней, тонкой оболочки внѣшняго приличія. Цѣлыя гнѣзда моральной плесени, пошлости и цинизма растутъ и множатся подъ прикрытіемъ „высокаго тона порядочности“: „все происходитъ здѣсь съ чистыми руками, въ чистыхъ рубашкахъ, съ французскими словами и съ одобренія выше стоящихъ людей“. Конечно, и порядочность, и чистыя руки, рассматриваемыя сами по себѣ, не составляютъ зла; напротивъ, все это придаетъ красоту и изящество людямъ и жи-

зни, все это сглаживаетъ рѣзкія грани въ физической и духовной фигурѣ человѣка и тѣмъ отърываетъ возможность пріятнаго общенія съ нимъ. Но, къ сожалѣнію, внѣшняя гладкость часто идетъ въ ущербъ внутренней доброкачественности. Обыкновенно, „порядочность и приличія“ служатъ для насъ формулой компромиса, почвой условнаго и молчаливаго соглашенія не стѣснять другъ друга во всемъ, что только не кричитъ о себѣ и не бросается рѣзко въ глаза. Въ такомъ качествѣ порядочность и приличія составляютъ триумфальную арку, черезъ которую ложь побѣдоносно входитъ въ нашу жизнь и въ нашу душу. Разъ войдя, ложь начинаетъ свои опустошенія.

И въ самомъ дѣлѣ, что пощадила она, какой уголокъ оставила она не тронутымъ въ жизни Ивана Ильича? Его семейныя отношенія, не смотря на порядочность ихъ внѣшнихъ формъ, представляютъ собою узелъ хроническихъ недоразумѣній, въ которыхъ бьются и треплются убогія души, отшлифованныя снаружи, и дикія, мелкія, хаотическія внутри. Ничто существенное и важное не соединяетъ

супруговъ: они ничего не любятъ вмѣстѣ, никакая глубокая цѣль не охватываетъ ихъ обоихъ тѣсной связью; ихъ совмѣстная жизнь есть внѣшняя близость, исполненная радикальной розни, отчужденія, дразгъ и обоюднаго озлобленія. Само собою разумѣется, на почвѣ такого „формальнаго“ супружества можетъ возрасти лишь „формальное“ семейство... Среди глубоко драматическихъ мѣстъ разсказа, выдѣляется, между прочимъ, сцена, когда у постели больного Ивана Ильича собралось однажды, передъ отъѣздомъ въ оперу, его „семейство“, — его жена, дочь, женихъ дочери и сынъ. Визитъ къ больному, требуемый приличіемъ, исполненъ былъ въ совершенствѣ: каждый зналъ, какъ слѣдуетъ держать себя въ „подобныхъ случаяхъ“, всѣ прекрасно выдержали свои роли, общій ensemble былъ превосходенъ. Но тѣмъ ярче выступала наружу вся нищета этихъ сердець, вся мнимая близость этихъ близкихъ людей. Когда всѣ встали и уѣхали, несчастный больной, „формальный“ мужъ и отецъ, вздохнулъ съ облегченіемъ: „ложь уѣхала съ ними“.

Главный интерес жизни сосредоточивался для Ивана Ильича въ его служебныхъ занятіяхъ. Но эта служба была ничто иное, какъ исполненіе обрядовъ, потерявшихъ смыслъ и цѣль своего установленія; это была опять таки ложь, отторгшая человѣка отъ всего дѣйствительнаго, жизненнаго, и потопившая его въ уныломъ болотѣ формальностей. Иванъ Ильичъ, со своей любовью къ службѣ, напоминаетъ Плюшкина, потерявшаго пониманіе истиннаго смысла богатства, и прилѣпившагося всею душою къ собиранію монетъ, ассигнацій и разнаго хлама. Въ томъ и другомъ случаѣ аналогичный самообманъ. Впрочемъ, въ службѣ, кромѣ ея обрядности, Иваномъ Ильичемъ цѣнился еще источникъ „матеріальныхъ средствъ“. Эта сторона дѣла, въ концѣ концовъ, перевѣшивала собою всѣ другія стороны. Почтенный членъ судебной палаты нуждался въ мѣстѣ непременно съ пятью тысячами жалованья. Онъ былъ готовъ на всякаго рода дѣятельность, по администраціи, по банкамъ, по желѣзнымъ дорогамъ, по учрежденіямъ Императрицы Маріи, даже по таможни, но подъ непремѣннымъ услови-

емъ — пятитысячнаго жалованья. Ему удалось достигнуть цѣли. Но, къ несчастью, и самыя нужды его, и ихъ удовлетвореніе, были отравлены все тѣмъ же самообманомъ, все тою-же ложью. Въ чемъ состояли эти нужды? Онѣ состояли въ потребности имѣть обстановку, похожую на обстановку лицъ соотвѣтствующаго круга, поддерживать знакомство съ людьми, отнюдь не низшими по рангу, а по возможности высшими... Все это, конечно, прекрасно знакомо каждому современному интеллигентному человѣку, — но гдѣ-же здѣсь пища для души? Что можетъ здѣсь наполнить пустоты хотя-бы самого мелкаго сердца? Пятитысячнаго жалованья оказалось мало, — „намъ всегда не хватаетъ еще немногаго“; „обстановочное“ соперничество и утѣхи тщеславія, какъ обыкновенно, привели не къ здоровому, спокойному довольству, а лишь къ болѣзненному, тщеславному зуду и къ тяжелой впечатлительности къ малѣйшимъ уколамъ дряннаго самолюбія. Удивительно-ли послѣ этого признаніе Ивана Ильича, что главною радостью его жизни, „радостью, которая какъ свѣча горѣла передъ всѣми другими“, было „сѣсть

съ хорошими игроками и не крикунами въ винтъ?“ Вотъ результатъ всего существованія, вотъ наилучше доказательство духовнаго банкротства!

Время болѣзни Ивана Ильича было временемъ подведенія жизненныхъ итоговъ. Выброшенный болѣзнию изъ числа актеровъ комедіи общежитія, онъ получилъ возможность стать въ положеніе посторонняго зрителя этой комедіи. Онъ былъ подавленъ гнетомъ нищеты воспоминаній о прошедшемъ; его охватило образовавшееся вдругъ одиночество, — „одиночество среди многолюднаго города, среди многочисленныхъ знакомыхъ и семьи, одиночество, полнѣе котораго не могло быть нигдѣ — ни на днѣ моря, ни въ землѣ“. Мертвенная обрядность жизни, въ которой столько лѣтъ участвовалъ самъ Иванъ Ильичъ, дала ему почувствовать себя, когда онъ увидѣлъ все бездушіе окружающихъ лицъ, исполняющихъ вокругъ его постели дѣйствія, напередъ предписанныя въ уставѣ приличій подѣ соответственнымъ титуломъ: „форма отношеній къ больному и умирающему“. „Главное мученіе — рассказываетъ гр. Толстой, — была ложь.

Всѣ хотѣли лгать надъ нимъ по случаю ужаснаго его положенія и заставляли его самого принимать участіе въ этой лжи. Эта ложь, ложь, совершаемая надъ нимъ наканунѣ его смерти, ложь, долженствующая низвести этотъ страшный, торжественный актъ его смерти до уровня всѣхъ ихъ визитовъ, гардинъ, осетрины къ обѣду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И странно, онъ много разъ, когда они надъ нимъ продѣлывали свои штуки, былъ на волоскѣ отъ того, чтобы закричать имъ: перестаньте врать, и вы знаете и я знаю, что я умираю, такъ перестаньте по крайней мѣрѣ врать. Но никогда онъ не имѣлъ духа сдѣлать этого. Страшный, ужасный актъ его умирающаго, онъ видѣлъ, что всѣми окружающими его былъ низведенъ на степень случайной неприятности, отчасти неприличія, низведенъ тѣмъ самымъ приличіемъ, которому онъ служилъ всю жизнь свою“.

Второе положеніе: „нужно покаяться, въ полномъ смыслѣ этого слова, т. е. измѣнить совершенно оцѣнку своего значенія и своей дѣятельности“.

„Только когда я покаялся,—замѣчаетъ гр. Толстой,—т. е. пересталъ смотрѣть на себя, какъ на особеннаго человѣка, а сталъ смотрѣть, какъ на человѣка такого-же, какъ всѣ люди, только тогда путь мой сталъ ясенъ для меня. На вопросъ: что дѣлать мнѣ, порочному человѣку? — отвѣчать легко: стараться прежде всего честно кормиться, т. е. выучиться не жить на шеѣ другихъ, и, участь этому, и выучившись, при всякомъ случаѣ приносить пользу людямъ и руками, и ногами, и мозгами, и сердцемъ, и всѣмъ тѣмъ, на что заявляются требованія людей“. Въ поясненіе своей мысли, гр. Толстой рассказываетъ нѣсколько трогательныхъ въ ихъ простотѣ, поэтическихъ притчей. Въ одной изъ нихъ мы видимъ, что мытье стола было исполнено съ успѣхомъ только тогда, когда былъ вымытъ моющій ручникъ, въ другой — передъ нами крестьянинъ, собравшійся на богомолье въ Іерусалимъ, но остановленный на пути дѣлами милосердія: „пойдешь за-моремъ Христа искать, — справедливо оправдываетъ онъ свою остановку, — а въ самомъ себѣ его потеряешь“; въ третьей—изображены три

отшельника, которые угодны Богу своей смиренной молитвой, хотя она представляетъ собою не болѣе, какъ дѣтскій лепетъ. Изъ такихъ и подобныхъ чертъ слагается образъ моральнаго спасенія, въ которомъ *смиреніе переходитъ въ любовь и сливается съ нею.*

И дѣйствительно, нельзя не видѣть, что смиреніе составляетъ краеугольный камень добродѣтели. Смиреніе есть приведеніе себя къ одному уровню съ ближними, тогда-какъ гордость есть самоизолированіе, превознесеніе себя надъ ними. Смиряющійся человѣкъ сходитъ съ пустынныхъ высотъ, куда завела его ошибочная самооцѣнка, и вступаетъ въ среду тѣснаго общенія съ себѣ *подобными*. Крѣпкія и близкія нравственныя узы не могутъ возникнуть между данными людьми, прежде-чѣмъ каждый изъ нихъ не скажетъ другому: „братъ мой“, т. е. прежде-чѣмъ всѣ они не смирятся до признанія общаго духовнаго равенства, до признанія единства своей сущности и цѣнности. Смиреніе порождаетъ любовь и сливается съ нею: любовь является сама собою, когда мы считаемъ себя равными среди равныхъ, когда мы видимъ въ себѣ лишь повто-

реніе того, что представляет собою каждая другая человѣческая личность, когда мы сознаемъ себя лишь частью единого общаго цѣлаго.

Чувствованіе такой связи между смиреніемъ, любовью и добродѣтелью замѣтно въ ученіяхъ многихъ мыслителей стараго и новаго времени. Такъ, напр., Платонъ говоритъ, что любящія существа составляли нѣкогда одно цѣлое; Богъ раздѣлилъ ихъ, и съ того времени, охваченныя постояннымъ безпокойствомъ, они ищутъ свою, отдѣленную отъ нихъ половину. Любовь, такимъ образомъ, есть единеніе личностей, которыя дополняютъ другъ друга, какъ-бы находя одно въ другомъ то, что нѣкогда они потеряли. Ни одно существо, продолжаетъ Платонъ, не ускользаетъ отъ могущества любви, а какъ только они любятъ — нѣкая божественная сила вырываетъ ихъ изъ оковъ эгоизма и толкаетъ на путь самопожертвованія. вмѣсто личнаго эгоизма, который сосредоточивался-бы на самомъ человѣкѣ, если-бъ этотъ послѣдній былъ вполне самостоятельнымъ, отдѣльнымъ, самоудовлетворяющимся, — порывъ любви охватываетъ

человѣка и побуждаетъ его принять въ свою душу другія души, въ свои заботы чужіе интересы.

Рядъ подобныхъ-же мыслей мы можемъ найти у философа, ставшаго моднымъ въ послѣднее время. Состраданіе — говоритъ Шопенгауэръ, — есть основаніе нравственной жизни. Но въ чемъ оно заключается? Оно есть таинственный, необъяснимый опытомъ и разумомъ процессъ отождествленія нашего „я“ съ личностями подобныхъ намъ существъ. Мнѣ кажется, что моя внутренняя сущность есть въ то же время сущность и каждаго другаго живущаго, что за гранью различія индивидуальныхъ, обусловленнаго временемъ и мѣстомъ, лежитъ единство ихъ всѣхъ, что окружающій меня человѣческій міръ не есть „не-я“, но лишь „повторенное я“. Подавая милостыню безъ всякой другой цѣли, кромѣ уменьшенія чужой нужды, мнѣ какъ-бы чувствуется, что я самъ есть то, что мнѣ является теперь въ печальномъ образѣ нищаго. Такимъ образомъ, смиряясь до значенія малой части великаго цѣлаго, я дѣлаюсь любящимъ и добродѣтельнымъ. Пока я считаю себя вполне самостоя-

тельнымъ индивидомъ, до тѣхъ поръ все остальное для меня чуждо и его отдѣляетъ отъ меня непроходимая бездна; оказанное мнѣ благо кажется мнѣ почти глупостью со стороны другихъ людей. Различіе между мною и другими, если я золь, такъ велико, что чужое бѣдствіе доставляетъ мнѣ радость; если я эгоистъ, то я не побоюсь большого чужаго вреда ради самой малой своей пользы. Въ обоихъ случаяхъ я считаю себя важнѣйшимъ и драгоцѣннѣйшимъ существомъ, и мой девизъ: *pegeat mundus, dum ego salvus sim*. Только тогда, когда я умѣряю высокую оцѣнку собственной особы, бездна между мною и ближними начинаетъ уменьшаться; жертвуя собственнымъ благомъ, я приравниваю чужую личность къ своей и даже превозношу ее надъ этой послѣдней.

Всѣ такія теоретическія соображенія могутъ служить объясненіемъ, почему христіанское ученіе, проникнутое глубокимъ знаніемъ человѣческаго сердца, ставитъ гордость во главу пороковъ и выдвигаетъ противъ нея смиреніе. Гордость есть корень многихъ нравственныхъ золъ; она змѣится въ коварной

улыбкѣ зависти и сверкаетъ въ глазахъ гнѣва, она дрожитъ въ рукахъ скупца и бушуетъ въ сердцѣ честолюбца. Христіанская мораль раскрываетъ ее въ затаеннѣйшихъ изгибахъ нашей души, преслѣдуетъ ее во всѣхъ ея превращеніяхъ, и настойчиво проповѣдуетъ покаяніе, въ чистой атмосферѣ котораго зарождается и крѣпнетъ добродѣтель.

III.

Къ двумъ, указаннымъ выше, положеніямъ нравственнаго ученія гр. Толстаго, присоединяется третье, — знаменитое требованіе „непротивленія злу“.

Это положеніе формулируется такъ: *зло не изводится зломъ*; насиліе, направленное противъ насилія, опять родитъ насиліе. „Если одинъ, — говоритъ гр. Толстой, — допустить для себя маленькое насиліе во имя исправленія огромнаго зла, другой на томъ-же основаніи допустить и для себя маленькое насиліе, и третій, и четвертый, и миллионы маленькихъ насилій сложатся въ то ужасное зло, которое царствуетъ теперь и давитъ

нась.“ Употребляя кисть художника въ помощь перу писателя, гр. Толстой не скупится на изображеніе соотвѣтствующихъ картинъ. То рассказываетъ онъ исторію двухъ крестьянскихъ семействъ, между которыми вражда начинается изъ пустяковъ, но путемъ постоянной взаимной мести, путемъ накопленія взаимныхъ оскорбленій и насилій, разрастается въ бездну обоюднo-пагубныхъ несчастій. То приводитъ онъ разсужденія мужика на сходкѣ, обсуждающей мѣры противъ злаго приказчика; Петръ Михѣевъ противится употребленію насилія: „Я не свое говорю,—замѣчаетъ онъ. Кабы намъ показано было зло зломъ изводить, такъ бы намъ и отъ Бога законъ лежалъ, а то намъ другое показано. Ты станешь зло изводить, а оно въ тебя перейдетъ. Человѣка убить—душу себѣ окрованить. Ты думаешь—худаго человѣка убилъ, думаешь—худо извелъ, анъ глядь, ты въ себѣ худо злѣе того завелъ. Покорись бѣдѣ, и бѣда покорится“.

Иногда мысль нашего моралиста-художника выражается въ изображеніяхъ бѣльшаго масштаба. Такъ, въ одной изъ „сказокъ“ говорится

о томъ, какъ враждебная армія вторглась въ предѣлы мирнаго государства „дураковъ“ Иванушки—царя, не имѣвшаго вовсе солдатъ: „Стали непріатели дома, хлѣбъ жечь, скотину бить. Не обороняются дураки, только плачутъ. За что, говорятъ, вы насъ обижаете? Зачѣмъ, говорятъ, вы добро дурно губите; коли вамъ нужно, вы лучше себѣ берите. Гнусно стало солдатамъ. Не пошли дальше и все войско разбѣжалось“. Нѣкоторые критики наивно доказывали, что этотъ разсказъ поражаетъ своей „неправдой:“ солдаты не ушли бы отъ отсутствія сопротивленія, а подчинили бы дураковъ своему игу, вслѣдствіе чего гораздо было-бы лучше, если-бы подданные Иванушки вооружились чѣмъ попало и силой встрѣтили насиліе. Но приведенная сказка не есть политическій трактатъ; въ ней напрасно искать политическихъ соображеній по части современныхъ международныхъ отношеній. Сказка выражаетъ нравственные воззрѣнія и нравственный идеалъ; здѣсь обѣ стороны представлены не такими, какими онѣ бываютъ въ текущей дѣйствительности, но такими, какими ихъ желательно-бы видѣть.

Гр. Толстой, говоря, что солдатамъ „гнусно стало“ изувѣрствовать надъ несопротивляющимися людьми, не погрѣшилъ противъ художественной и нравственной правды, противъ достоинства нашей природы и нашего сердца. Человѣкъ, на извѣстной нравственной высотѣ, не можетъ поднять руку на беззащитнаго; человѣку истинно-христіанскаго настроенія души не легко поднять руку даже на врага. Желательно, чтобы такихъ людей было больше, желательно, чтобы такими были все, — вотъ нравственная тенденція художника-моралиста, описывающаго не то, что есть, а то, что должно быть. Если въ этихъ желаніяхъ обнаруживается неправда и ложная идеализация, то ихъ раздѣляютъ съ гр. Толстымъ благороднѣйшія души всѣхъ временъ. „Истинная доброта, — писалъ Маркъ Аврелій, — все-сильна. Что можетъ сдѣлать человѣкъ, если ты сохраняешь по отношенію къ нему всю доброту свою, и, въ виду уже его покушенія причинить тебѣ зло, ты скажешь ему безъ гнѣва: Не дѣлай этого, другъ мой, — не мнѣ ты причинишь зло, а прежде всего самому себѣ“. Къ этимъ великимъ „идеалистамъ“

всегда будутъ обращаться люди, ищущіе спасенія или моральнаго очищенія; тогда-какъ люди, озабоченные лишь искусствомъ ловко изворачиваться среди пестрыхъ событій текущей жизни, найдутъ для себя больше назиданія въ сочиненіяхъ Макиавелли или въ со-вѣтахъ князя Бисмарка.

Весьма ошибочно полагать, будто „непротивленіе злу“ у гр. Толстаго знаменуетъ квиетизмъ, фатализмъ, или буддизмъ, съ его жаждой Нирваны. Нашъ моралистъ отвращается отъ мщенія и насилія, но отнюдь не отъ стойкости въ добрѣ. Стоитъ лишь вспомнить подвиги отшельника, описаннаго въ рассказѣ „Крестникъ“. Однажды этотъ отшельникъ повстрѣчалъ въ лѣсу разбойника, который везъ на своемъ сѣдлѣ связаннаго человѣка. Какъ поступилъ при этомъ подвижникъ? Отшель-ли онъ спокойно въ сторону? Удовольствовался-ли онъ успокоительной надеждой, что судьба уладитъ дѣло безъ его активнаго вмѣшательства? — Нѣтъ, онъ вышелъ на встрѣчу разбойнику и взялъ его лошадь за узду. Разбойникъ замахнулся кинжаломъ, но подвижникъ не испугался: „Не пуцу, сказалъ

онъ. Я не боюсь тебя, я боюсь только Бога. А Богъ не велить пускать. Отпусти человѣка, котораго везешь". Спустя нѣсколько времени, онъ снова встрѣтилъ того-же разбойника, который тихо ѣхалъ, пасмурный и мрачный. Посмотрѣлъ на него подвижникъ и жалко ему стало; подбѣжалъ онъ къ нему и ухватилъ его за колѣно: „Братъ милый, сказалъ онъ, пожалѣй свою душу! Вѣдь въ тебѣ духъ Божій, мучаешься ты и другихъ мучаешь, и еще хуже мучиться будешь. Не губи ты себя, братецъ, перемѣни свою жизнь". Разбойникъ нахмурился, отвернулся и сказалъ: „отстань". Но подвижникъ обхватилъ еще крѣпче его колѣно и заплакалъ слезами. Поднялъ глаза разбойникъ на него, смотрѣлъ, смотрѣлъ, слѣзъ съ лошади и палъ передъ нимъ на колѣни: „Побѣдилъ ты меня, старикъ, — сказалъ онъ. Долго я боролся съ тобою и растаяло во мнѣ сердце, только когда ты пожалѣлъ меня и заплакалъ передо мною".

Конечно, „трезвый" критикъ можетъ замѣтить, что подобные рассказы искажаютъ „жизненную правду", и что, въ дѣйствительности, разбойникъ просто убилъ-бы надоѣдливаго ста-

рика при первой-же встрѣчѣ. Но мы повторяемъ, что всѣ такіе рассказы гр. Толстаго имѣютъ цѣлью, не изобразить существующее, а изложить — безъ лжи на человѣческое сердце — излюбленные нравственные воззрѣнія. Въ сущности, все, что сказано въ нихъ о непротивленіи злу, есть не болѣе, какъ иллюстрированное текстомъ Писанія: „Вамъ сказано: око за око и зубъ за зубъ, Я-же говорю Вамъ: не противтесь злему". Этимъ именно положеніемъ отличается христіанскій міръ, отъ міра древности, опиравшейся на силу. Если для нашего уха слова гр. Толстаго кажутся странными, то это потому, что мы оглушены шумомъ борьбы *omnium contra omnes*, характеризующей жизнь нашего времени, не менѣе (если не болѣе), чѣмъ жизнь прошедшихъ эпохъ. Намъ странны рѣчи о мирѣ, незлобii и всепрощеніи, когда вокругъ насъ происходитъ горячая битва интересовъ, капиталовъ и самолюбій. Мы привыкли вѣрить въ борьбу и увѣнчивать побѣдителей. Мы привыкли считать „человѣкомъ съ убѣжденіями" лишь того, кто задѣваетъ людей за живое, мы считаемъ — гордость и рѣзкость непремѣнными атрибу-

тами истины; дерзость и грубость кажутся намъ неотъемлемымъ признакомъ честности, тогда какъ скромность и мягкость, въ нашихъ глазахъ, есть робкое отступничество отъ принциповъ или свѣтская слабость. Мы упорно стоимъ на этомъ, хотя и знаемъ не мало примѣровъ зла, оказаннаго человѣчеству „поборниками блага“. „Великія преступленія, — замѣчаетъ Маколей, — совершаемы были людьми, которые увѣряли себя, что намѣренія ихъ чисты, что цѣль ихъ благородна, что они дѣлаютъ малое зло для великаго добра. Робеспьеръ не убилъ-бы изъ корыстныхъ видовъ и одного изъ тысячъ людей, которыхъ казнилъ по филантропіи“. Говоря о томъ, что нынѣшняя Европа не можетъ проникнуться духомъ смиренія, мягкости и состраданія, Шопенгауэръ указывалъ какъ на причину этого, на *foetor judaicus*, которымъ пропитана наша современность.

Намъ непріятны попытки обезоружить добро и истину, потому-что каждый изъ насъ отождествляетъ съ добромъ и истиной свои желанія, свои стремленія и идеалы; отнятіе меча и огня у добра является поэтому обезоруже-

ніемъ насъ самихъ. Но кто сказалъ намъ, что именно наши планы — благо, и наша идея — истина? Не считали-ли себя фарисеи и книжники хранителями правды? Не горячее-ли благочестіе разжигало костры инквизиціи?.. Когда гр. Толстой правдиво изложилъ свое искреннее мнѣніе о назначеніи женщины, то критики, отвергающіе „непротивленіе злу“, провозгласили, что высказывать въ настоящее время подобныя мысли, значитъ „бить лежачаго“, и что въ слѣдствіе этого, „лавры“ нашего знаменитаго писателя „вянутъ отъ стыда“. Но, во-первыхъ, съ точки зрѣнія сторонниковъ борьбы, гр. Толстой имѣлъ-бы право дѣйствительно „противиться“ тому, въ чемъ видитъ зло, и „бить“ врага (чего онъ не дѣлаетъ). Во вторыхъ, подражая боевымъ приѣмамъ своихъ критиковъ, онъ могъ-бы сказать имъ: „каковъ-бы я ни былъ, но меня однако со вниманіемъ читаютъ и многіе любятъ; но кто вы, съ такою дерзостью покушающіеся на чужіе лавры? Я васъ не знаю, какъ не знаетъ васъ многомилліонная Россія за исключеніемъ десятка лицъ тѣснаго кружка“. Гр. Толстой не вдается въ полемику, онъ отвѣ-

чаетъ противникамъ молчаніемъ. Однако-же это не есть квіетизмъ, апатія, или равнодушіе къ добру. Это только другая, особая метода дѣйствія. Предоставляя критикамъ время одуматься и покаяться, гр. Толстой продолжаетъ высказывать свои мысли и облекать въ чудныя формы свои идеалы.

Г. Лѣсковъ, въ одной изъ своихъ статей, достаточно наглядно объяснилъ, что „непротивленіе злу“ у гр. Толстаго не есть ученіе нравственной пассивности. Но къ своему объясненію онъ присоединилъ нѣкоторыя сомнѣнія, по отношенію къ этому ученію, которыя не кажутся намъ подрывающими строй мыслей нашего моралиста. Г. Лѣсковъ говоритъ: „Не сопротивляться злу надъ собой—очень хорошо, но *не всегда*“. И еще: „Есть случаи, когда человѣкъ не можетъ оставаться человѣкомъ, не оказавъ самаго быстрого и самаго сильнаго сопротивленія злу“. Такими ограниченіями вопросъ переносится на казуистическую почву, на почву отдѣльныхъ жизненныхъ случаевъ; но на этой почвѣ едва-ли не каждая нравственная заповѣдь теряетъ свою абсолютную всеобщность. Напр., если мы скажемъ:

„лгать дурно“,—то всѣ, конечно, согласятся съ нами. Но всегда-ли лгать дурно? Во всѣхъ ли жизненныхъ случаяхъ ложь есть преступленіе? Общій опытъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ отрицательно; каждый вспоминаетъ случаи необходимаго, даже полезнаго обмана. Шопенгауэръ, напримѣръ, указываетъ виды дозволительной лжи. Можно-ли отсюда сдѣлать выводъ, что заповѣдь „не лги“—пустая фраза? Безъ сомнѣнія, нѣтъ. Эта заповѣдь остается все таки руководящимъ началомъ, она продолжаетъ сіять въ золотомъ вѣнцѣ добродѣтелей, которымъ озаренъ идеаль должной жизни. Отступленіе отъ нея есть компромисъ, соглашеніе между тѣмъ, что есть и тѣмъ, что должно быть, уступка несовершенствамъ дѣйствительности. Человѣкъ лжетъ подъ давленіемъ окружающаго, но живущая въ его душѣ заповѣдь предохраняетъ его отъ того, чтобы онъ не сталъ лжецомъ. Подобно этому, въ дѣйствительной жизни, при видѣ совершающагося звѣрскаго насилія надъ нашимъ ближнимъ, мы можемъ вспыхнуть неудержимымъ чувствомъ состраданія къ жертвѣ и злобы къ палачу. Это чувство можетъ выра-

зиться тѣмъ, что мы нанесемъ насильнику ударъ. Мотивирующее чувство здѣсь благородно, результаты могутъ быть полезны, — но все-таки это есть отступленіе отъ общаго руководящаго начала борьбы со зломъ только любовью и самоотверженіемъ, все-таки это уступка недостаткамъ современности. Человѣкъ, раздѣляющій мнѣнія гр. Толстаго, нанесетъ свой ударъ не съ радостью хорошо исполненнаго нравственнаго долга, а съ сокрушеніемъ, съ болью о томъ, что жизненный случай заставилъ его выступить на завѣдомо скользкій путь. Онъ будетъ думать вмѣстѣ съ упомянутымъ крестьяниномъ (въ рассказѣ „Свѣчка“): „не то показано намъ отъ Бога“. И такія мысли, такое памятованіе основной заповѣди, устранить для него возможность войти во вкусъ нанесенія ударовъ. Въ немъ не возгорится страсть къ насилію, — сперва при видѣ возмутительнаго преступленія, потомъ при случаѣ проявленія меньшей порочности, а затѣмъ и при всякомъ противодѣйствіи его вкусамъ и мнѣніямъ; онъ не смѣшается съ толпою вѣка борьбы, столкновений и обильно сыплющихся повсюду ударовъ.

Укажемъ еще одно мѣсто въ интересной статьѣ г. Лѣскова. Говоря о трудности долгой и упорной работы надъ собою, которую гр. Толстой считаетъ надежнымъ путемъ моральнаго совершенствованія, г. Лѣсковъ замѣчаетъ, что возвышенные поступки могутъ вытекать изъ сердца вдругъ, внезапно, что „съ живымъ человѣкомъ наилучшій оборотъ можетъ дѣлаться очень быстро, въ мгновеніе ока“, и что проявленіе добродѣтели „вызывается высокимъ, захватывающимъ сердце порывомъ, святымъ движеніемъ души“, а не методой долгаго подвижничества. Мы полагаемъ, что это возраженіе требуетъ оговорки. Конечно, и человѣкъ, впервые взявшій въ руки ружье, можетъ попасть въ цѣль: въ данный моментъ въ немъ можетъ найтись необходимая твердость руки и вѣрность глаза. Но можемъ-ли мы назвать такого человѣка настоящимъ стрѣлкомъ? Можемъ-ли мы положиться на его искусство? Минутный порывъ можетъ вызвать добродѣтельный поступокъ, но нравственнымъ человѣкомъ мы считаемъ только такого, у котораго добродѣтель сдѣлалась какъ-бы привычной, въ которомъ она вкоренилась и стала

„второй натурой“. Одно отдѣльное доброе дѣло еще ничего не доказываетъ и ни въ чемъ не убѣждаетъ. По этому именно поводу сказаны Аристотелемъ слова, перешедшія въ половицу: „одна ласточка еще не дѣлаетъ весны“.

IV.

Завершеніемъ нравственныхъ возрѣній гр. Толстаго служитъ апологія *жизни труда, и прежде всего — труда физическаго*. Такая жизнь, по мысли нашего моралиста, есть надлежащее осуществленіе жизненныхъ обязанностей, начиная съ первой — кормить себя и другихъ. Эта жизнь чужда тяжелыхъ усложненій и мучительной взбитости отношеній, а слѣдовательно, чужда отравы, подрывающей физическое и духовное здоровье человѣка. При этой жизни совѣсть спокойна и внутренній миръ не колеблется сознаниемъ, что наше благополучіе окупается бѣдствіями другихъ людей. Только съ этой жизнью согласимы безпечная веселость и любовное общеніе, безъ злобы соперничества, сонъ безъ кошмаровъ и смерть безъ леденящаго ужаса. Въ этой жизни имѣютъ свое мѣсто и женщины, наравнѣ съ

мужинами; на почвѣ трудовой жизни не могутъ возникать вопросы и споры о „правахъ“. Если женщина, имѣя свои особенныя, важныя и трудныя обязанности матери, блюстительницы очага и хранительницы нравственнаго свѣточа, просвѣтляющаго душу новыхъ поколѣній, живетъ въ атмосферѣ истиннаго труда, въ обществѣ мужчинъ, занятыхъ истиннымъ, а не фальшиво-параднымъ трудомъ, то она не будетъ претендовать на какія-либо новыя, кромѣ своихъ, обязанности. Мы не видимъ завистливыхъ требованій „равноправнаго участія въ трудѣ“, со стороны женщинъ тѣхъ семействъ, которыхъ мужчины орошаютъ своимъ потомъ пашню, рудникъ, каменоломню и пр. Современный „женскій вопросъ“ родился и живетъ въ сферѣ праздности, маскирующейся личиною труда; этотъ „вопросъ“ заключается въ томъ, что женщина, обращаясь къ мужчинѣ, говоритъ: „Я хочу такъ-же, какъ и ты, подъ видомъ раздѣленія труда, пользоваться работой другихъ, дѣлая нѣкоторое подобіе труда и удовлетворяя своимъ похотямъ“.

Такими чертами обрисовываетъ гр. Толстой внѣшнюю форму желательной жизни. Этотъ

идеаль проникнуть идиллическимъ характеромъ. Здѣсь, между строками отвлеченнаго изложенія, наше воображеніе видитъ картины сельской природы и жизни; наша фантазія открываетъ передъ нами, то сцены деревенскаго труда, не тронутаго ржавчиной сомнѣнія и скептицизма, то сцены веселья, чуждыя мрачныхъ тѣней скуки и пресыщенія; передъ нами возникаетъ, то фигура пахаря, который идетъ за сохой, какъ-бы священнодѣйствуя, въ полномъ убѣжденіи, что его работа есть его специальное дѣло, завѣщанное предками, естественное по сущности и глубоко-важное по значенію; то пестрая гирлянда хоровода, оживленная тѣмъ пыломъ веселья, который доступенъ лишь человѣку, увѣренному въ правотѣ, законности и дѣйствительности своего между-трудоваго развлеченія. Конечно, идеалу гр. Толстаго можно сочувствовать или не сочувствовать, на изображенія прелестей труда вообще, и труда физическаго въ частности, наше сердце можетъ отвѣчать отголоскомъ симпатіи или антипатіи. Но здѣсь невозможенъ споръ, на основаніи какихъ-либо точныхъ данныхъ, ученыхъ аргументовъ, стати-

стическихъ цифръ, и пр. Какимъ образомъ доказать, что извѣстный родъ жизни ведетъ единственно или лучше другихъ къ благополучію? Кто можетъ объявить себя пророкомъ, живя въ средѣ многопричинности жизненныхъ явленій? Къ тому-же, развѣ самое „благополучіе“ представляетъ собою объективно существующій и для всѣхъ людей равнозначущій предметъ?..

Вотъ почему намъ кажутся странными попытки критиковъ „разбить“, какъ они выражаются, или опровергнуть идеаль гр. Толстаго. Вопросы о строѣ лучшей, желательной жизни не рѣшаются таблицей умноженія. Споръ объ идеалахъ возможенъ лишь въ той формѣ, въ какой возможенъ онъ о музыкѣ. Однажды, рассказываетъ Гейне, поспорили между собой почитатель Россини и поклонникъ Беллини: ихъ диспутъ состоялъ въ томъ, что первый напѣвалъ лучшія мѣста изъ произведеній своего любимаго композитора, второй напѣвалъ лучшіе куски изъ оперъ своего. Вотъ единственно возможный способъ спора. Желая разрушить или преодолѣть очарованіе „пасторали“ гр. Толстаго, нужно противопоставить ей

другую мелодію. Думаемъ, что для этой цѣли негодится мелодія жизни современнаго интеллигентнаго общества. На что укажемъ мы въ этой жизни, какъ на противувѣсь мирной простотѣ и спокойной прелести идиллій, рисуемыхъ гр. Толстымъ? Сошлемся-ли мы на нашъ „благородный“, „чистый“ трудъ? Но, не касаясь его значенія по существу, мы знаемъ, на сколько рѣдко составляетъ онъ *смыслъ и самостоятельную цѣнность* жизни интеллигентнаго человѣка. Несравненно чаще работа послѣдняго играетъ печально-служебную роль, она является горькимъ и скучнымъ путемъ добыванія *средствъ жизни*. Мы легко мѣняемъ различные роды нашего „благороднаго“ труда, равнодушно переходя отъ одного изъ нихъ къ другому; наконецъ, мы останавливаемся на какомъ-либо изъ нихъ, но не потому, что онъ не поддается нашему скептицизму и преодолеваетъ нашъ индифферентизмъ, а потому, что мы устали, и апатія полагаетъ границу нашему унылому скитанію. Если у насъ есть дѣти, мы стараемся отклонить ихъ отъ того пути, по которому сами влчили долгіе годы своего существованія.

Быть можетъ, мы укажемъ на тѣ радости и утѣхи, которыя составляютъ удѣлъ нашего „интеллигентнаго“ общества и недоступны формѣ жизни, желательной гр. Толстому? Но всѣ мы знаемъ ихъ внутреннюю цѣнность, всѣ мы столько разъ отчетливо слышали ноту скуки, среди разгара нашего веселья, всѣ мы столько разъ ощущали струю холода, пробѣгающую по нашимъ гостиннымъ. Здѣсь, среди экзотическихъ растений и изящныхъ туалетовъ, ярче, чѣмъ гдѣ-нибудь, выступаетъ на видъ ужасная страсть, которая такъ мучительно гложетъ наше существованіе, и которая такъ рельефно изображена у Шопенгауэра. Мы говоримъ о нашей страсти „казаться“, о стремленіи правдой и неправдой возбуждать въ себѣ въ окружающихъ людяхъ удивленіе, похвалу, почтеніе, и пр. Отсюда именно, какъ изъ неоскудѣвающаго источника, истекаетъ „жизнь не по средствамъ“, съ ея горькими результатами, рабство передъ чужими мнѣніями, презрѣнная льстивость предъ стоящими ступенью выше на лѣстницѣ общественной іерархіи, комичныя потуги напыщенности, пошлыя драмы задѣтаго тщеславія,

затаенное шипѣніе зависти и отвратительные взрывы ненависти. Въ 1846 году, въ Лондонѣ, — рассказываетъ Шопенгауэръ, — осужденный за убійство Томасъ Вексъ былъ чрезвычайно озабоченъ желаніемъ обнаружить передъ публикою побольше храбрости на эшафотѣ. Желаніе его исполнилось, толпа наградила его криками одобренія. Въ этомъ, отнюдь не рѣдкомъ, случаѣ много назидательности. Видѣть передъ глазами смерть въ страшномъ образѣ, уже чувствовать на себѣ таинственное дыханіе вѣчности, и не имѣть другой заботы, кромѣ мысли о впечатлѣніи, производимомъ на толпу и сбродъ зѣвакъ, — вотъ великолѣпный образчикъ жажды почестей и одобренія!..

Мы не продолжаемъ далѣе. Что новаго въ данномъ отношеніи можно сказать автору „Анны Карениной“ и „Смерти Ивана Ильича“?

Нѣкоторые изъ критиковъ, относящихся скептически къ внушеніямъ гр. Толстаго о высокой доброкачественности трудовой жизни, замѣчаютъ: „Убѣжденіе богатыхъ покрывать крестьянскія недоимки, отдавать землю сельскимъ обществамъ на самыхъ льготныхъ условіяхъ — было-бы несравненно полезнѣе, чѣмъ

проповѣдь о трудѣ и воздержаніи для лицъ, не нуждающихся въ работѣ“. Трогательная наивность критиковъ заключается въ ихъ надеждѣ помочь существенно чему-нибудь механическимъ переливаніемъ съ мѣста на мѣсто „экономическихъ благъ“. Мы полагаемъ, что важнѣйшее дѣло — забота объ очищеніи человѣческой души: всѣ способы „распредѣленія цѣнностей“ остаются тщетными, если общій уровень нравственности низокъ, если человѣкъ, въ глубинѣ своего сердца, эгоистъ и празднолюбецъ, и если общественная атмосфера заражена духомъ наживы, хищничества и взаимнаго неразволочнаго „противленія“.

Въ предъидущихъ параграфахъ изложено нами все, наиболѣе существенное, изъ напечатанныхъ произведеній гр. Толстаго, все, на чемъ преимущественно зиждется уваженіе и любовь почитателей знаменитаго художника-моралиста. Но нѣкоторыя мысли и соображенія послѣдняго мы обошли молчаніемъ. Эти мысли и соображенія оставлены нами въ сторонѣ, или по ихъ несущественности, или по

ихъ ошибочности. Такая ошибочность, однакоже, не умаляетъ значенія нашего писателя. Во-первыхъ, она есть неизбежная сторона человѣческаго творчества,—мы не знаемъ во всей исторіи умственной жизни человѣчества ни одного дѣятеля, котораго трудъ вошелъ-бы цѣликомъ въ нашу общую духовную сокровищницу. Во-вторыхъ, ошибки гр. Толстаго не разрушаютъ цѣнности того дара, который онъ передалъ своей современности, и который эта современность завѣщаетъ будущему. Конечно, упомянутыя заблужденія могутъ и должны вызывать критическое къ себѣ отношеніе. Тамъ, гдѣ гр. Толстой объясняетъ смыслъ существующихъ фактовъ, высказываетъ соображенія о связи явленій дѣйствительности и о законахъ, управляющихъ жизнью этихъ явленій,—тамъ наука въ полномъ правѣ приложить свою мѣрку и сказать свое компетентное слово. Ученый богословъ, психологъ, обществовѣдъ, политикъ, — держась приемовъ и предѣловъ своего вѣдѣнія,—являются всегда желанными участниками въ дѣлѣ разсмотрѣнія публично высказанныхъ и общественно-интересныхъ ученій.

Но, во всякомъ случаѣ, это солидное дѣло требуетъ серьезнаго къ себѣ отношенія и чистыхъ рукъ. Вотъ почему такъ неприятно встрѣчать здѣсь легкомысленную близорукость, подобную той, которою блещетъ отзывъ рецензента одного изъ старѣйшихъ нашихъ журналовъ о драмѣ „Власть тьмы“. Упомянутый критикъ сочувственно приводитъ анекдотъ, будто нѣкіи читатели изъ просто-народья высказались о драмѣ въ томъ смыслѣ, что ея герой, Никита, все время былъ молодцомъ, совершая разные преступленія, но въ концѣ „сбрендилъ“, — покаялся. Мы не доверяемъ правдивости анекдота и удивляемся сочувствію критика. Порочность Никиты не прикрыта въ драмѣ оболочкой пикантной привлекательности, и покаяніе не является здѣсь внезапною случайностью. Порокъ подъ кистью нашего реалиста-художника, зияетъ широкой, раскрытой раной. Порочность Никиты не представляетъ собою фальшиваго молодечества какого-нибудь „разбойника „Чуркина“ или „Рокамболя“; она является неподкрашеннымъ, безмысленнымъ дебошемъ, отъ размаховъ котораго постоянно

разлетаются вокруг брызги грязи, чернящей все болѣе и болѣе личность самого Никиты. Кто позавидуетъ его порочнымъ успѣхамъ у „хозяйки“, когда этой цѣной онъ теряетъ свѣжее чувство честной дѣвушки? Слезы Марины просачиваются на дно души Никиты и даютъ о себѣ чувствовать постояннымъ ощущеніемъ горечи и тоски объ утерянномъ. Кто позавидуетъ преступно пріобрѣтенному богатству Никиты, когда этой цѣной онъ пріобрѣтаетъ хаосъ и адъ семейной жизни? Нѣтъ, это не молодець, вызывающій зависть, а страдалецъ, утопающій въ болотѣ нравственной распушенности.

Затѣмъ, какъ можно считать покаяніе Никиты простою случайностью? Этому взрыву нравственнаго чувства предшествовалъ цѣлый рядъ тревогъ совѣсти и моральнаго томленія, — подобно тому, какъ раскатамъ грома разразившейся грозы предшествуютъ вспышки молніи, все приближающейся и постепенно охватывающей небосклонъ. Развѣ не шевельнулась въ душѣ Никиты тревога уже при первой его лжи, въ отвѣтъ отцу о Маринѣ? Развѣ онъ не почувствовалъ ужаса и омер-

зенія, когда узналъ о „порошкахъ“? Развѣ онъ не застоналъ отъ тяжелой нравственной „скуки“, когда отецъ выразилъ презрѣніе къ его житью-бытью и не захотѣлъ переночевать у него? Развѣ онъ не готовъ былъ искать спасенія отъ надвинувшейся на него нравственной тьмы, послѣ убійства ребенка? Наконецъ, слова Митрича о томъ, что „ненадо бояться людей“, дали ему рѣшимость выразить внѣшнимъ поступкомъ то, что уже назрѣло въ его душѣ. Критикъ думаетъ, что совѣтъ не бояться людей долженъ-бы былъ побудить Никиту дѣлать, что хочется, и предаться беззащитно порочности. Но развѣ онъ не видитъ, что Никита именно хочетъ сбросить съ себя покрывающую его скверну грѣха? Неужели критикъ думаетъ, что „боязнь людей“ служить препятствіемъ только совершенію преступленій. Неужели онъ не знаетъ, что для проявленія благородныхъ требованій души, часто нужно болѣе нравственнаго мужества, чѣмъ для преступленія? Неужели ему неизвѣстно, какъ часто люди малодушно лгутъ на себя, какъ часто человекъ, въ рабскомъ страхѣ предъ людьми, щеголяетъ своими пороками и

боится послѣдовать самому чистому внушенію своего сердца?

Комментируя основную мысль драмы, критикъ полагаетъ, что „власть тьмы“ означаетъ „власть князя тьмы“, власть постороннюю по отношенію къ человѣку, власть, хватающую насъ изъ-внѣ и влачащую туда или сюда, безъ всякаго участія нашей активности и нашей воли. Всѣ эти разсужденія представляютъ дѣтскій лепетъ, не идущій къ дѣлу. Въ произведеніи гр. Толстаго нѣтъ ни рока, ни фатума, ни сатаны. Здѣсь передъ нами власть внутренней порочности, которая зарождается въ душѣ человѣка, вслѣдствіе его моральной неряшливости, и растетъ, простираетъ заразу во всѣ стороны, овладѣваетъ чувствованіями, помыслами и поступками того, кто по нерадѣнію не локализируетъ болѣзнь и не употребляетъ усилій къ освобожденію себя отъ образовавшейся душевной гангрены. Далѣе, критикъ считаетъ Акима „просто придурковатымъ“ мужикомъ. Этотъ „простой“ взглядъ можно по справедливости назвать „простоватымъ“. Нужно быть, или иностранцемъ—изъ тѣхъ, которые пишутъ статьи между двумя

рюмками абсента, за пятьдесятъ сантимовъ *), или „русскимъ изъ иновѣрцевъ“, чтобы не увидеть того нравственнаго свѣта, который струится изъ всей фигуры Акима. За нескладными рѣчами этого мужика, свѣтится та нравственная, самобытная мощь русской души, которая составляетъ могучую моральную почву всей (не одной крестьянской) Россіи. Если эта душа не признана отчетливо, если она не возведена въ „теорію“, если она стоитъ „загадочнымъ сфинксомъ“ передъ нашей теоретической, испытующей мыслью, то это не даетъ еще возможности отрицать ея существованіе. Если мы не знаемъ точно чертъ ея самостоятельной фizioноміи, то мы не можемъ, однако-же, не видѣть ея внѣшнихъ дѣйствій и проявленій. Эта русская душа существуетъ, потому-что существуетъ русская жизнь: никакой общественно-политическій союзъ не можетъ держаться одними „учрежденіями“, безъ извѣстной нравственной скрѣпы.

Эта русская душа существуетъ, потому-что русскіе люди, разсѣянные на необъятной тер-

*) Таково, думаемъ, происхожденіе одной статьи о драмѣ гр. Толстаго въ газ. „Figaro“.

ритори, доказали не разъ способность единодушно чувствовать и дѣйствовать. Объ эту русскую душу, какъ о каменный утесъ, разбилось нашествіе Европы въ 12-мъ году. Этотъ-же утесъ, мы глубоко убѣждены, будетъ роковымъ и впредь для искусственно вздутой чужестранной гордыни. Нравственная сила, свѣтящаяся въ Акимѣ и гнѣздящаяся, часто безсознательно, въ душѣ русскихъ людей всѣхъ сословій, составляетъ нашу надежду: ея могучая волна вынесетъ насъ на берегъ новой жизни, когда нынѣшній фазисъ моральной жизни будетъ изжитъ до конца, и когда современная разсудочность, подобно классической греко-римской, изсякнетъ въ скептицизмъ.

Разсматриваемый критикъ высказываетъ сомнѣніе, вѣрно-ли гр. Толстой выразилъ отношеніе нашего народа къ умственному просвѣщенію, словами Акіма: „Это мужики за грѣхъ почитаютъ, какъ-же ученые-то... Все ни къ чему“. Безъ сомнѣнія, вѣрно. Если сотрудникъ просвѣщенной редакціи можетъ надѣяться на духовное возрожденіе человечества, какъ на результатъ біологическихъ из-

слѣдованій или записыванія, со словъ проводниковъ, различныхъ обычаевъ какихъ-нибудь тибетцовъ, каракалпаковъ, осетинъ, и т. д., то Акимъ понимаетъ поговорку: „ученье свѣтъ“ въ томъ смыслѣ, что наука можетъ научить, какъ выиграть процессъ, какъ построить домъ, какъ вспахать по глубже пашню, но онъ не настолько наивенъ, чтобы предполагать, будто „ученье“ очиститъ его душу и озаритъ небеснымъ лучомъ земное общежитіе. Онъ не слѣпъ, онъ прекрасно видитъ нравственную цѣнность многихъ изъ тѣхъ людей, которые „проходили ученіе и знаютъ науки“.

Если проявленія въ критикѣ тенденціознаго легкомыслія, подобнаго только-что указанному, вызываютъ непріятное чувство, то тѣмъ болѣе мы не можемъ не скорбѣть, слыша въ хорѣ критиковъ гр. Толстаго назойливо-пискливые голоса, которые, съ единственною цѣлью обратить на себя вниманіе, выкрикиваютъ на разные лады: „Et moi aussi j'aime la nature!“ Еще сильнѣе возмущаютъ насъ попытки игриво-ироническаго отношенія къ вещамъ вполне серьезнымъ. Насмѣшка, говоря вообще, представляетъ собою весьма де-

шное боевое оружіе; справедливо сказано къмъ то, что стоитъ надѣть на статую Аполлона Бельведерскаго шапку, чтобы найти людей, готовыхъ посмѣяться. Наконецъ, мы совершенно умалчиваемъ о печальныхъ случаяхъ грубости, направленной, подъ видомъ критики, на самую личность почтеннаго писателя (какъ, напр., ст. позорно-знаменитой „дамы“ въ Русскомъ Курьерѣ). Это уже относится къ разряду тѣхъ, встрѣчающихся на жизненномъ пути явленій, мимо которыхъ брезгливый путникъ спѣшитъ пройти какъ можно скорѣе.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Государство и общественная нравственность.

Les lois peuvent seconder puissamment les mœurs. Les lois, à la longue, forment les mœurs.

Matter.

Un gouvernement pervers introduit le vice chez les peuples, comme un gouvernement sage fait fructifier la vertu.

Shateaubriand.

I.

Разсматривая общежитіе въ предѣлахъ какой-бы то ни было страны, мы видимъ въ немъ, прежде всего, пеструю массу отдѣльныхъ личностей, множество индивидовъ, изъ которыхъ каждый думаетъ, что только онъ смотритъ на вещи правильными глазами, каждый хочетъ все повернуть по своему; каждый, изъ зависти къ большей славѣ или къ большому

счастью, желаетъ другому всевозможныхъ золь и рукоплещетъ въ восторгѣ, когда его желанія сбываются, хотя прекрасно понимаетъ, что нельзя-же славу и счастье развѣсить на равныя части, точно лекарство на аптекарскихъ вѣсахъ. Однако, при болѣе пристальномъ взглядѣ на дѣло, мы замѣчаемъ, что общежитіе не есть лишь агрегатъ такихъ, разбѣгающихся въ разныя стороны песчинокъ. Человѣкъ не есть лишь изолированная единица; въ тѣсной области его *частнаго* существованія, въ самомъ *эгоизмѣ* его, живутъ импульсы, побуждающіе его перейти узкія рамки обособленности и завязать отношенія съ ближними. Его личныя чувства любви и симпатіи заставляютъ его искать сближенія съ объектами этихъ чувствъ; его эгоистическія соображенія о выгодѣ заставляютъ его вступать въ соответствующія группы. Такое общеніе, такія группы, имѣющія исходнымъ пунктомъ и центральной внутренней пружиной частный интересъ каждой данной личности, составляютъ такъ называемыя „общественныя группы;“ совокупность ихъ образуетъ „общество“.

Но, помимо указанныхъ жизненныхъ импульсовъ, человѣкъ способенъ имѣть еще другіе. Помимо любви къ лицамъ, лично намъ пріятнымъ, помимо солидарности съ лицами, съ которыми насъ связываетъ частный интересъ, частное дѣло: ремесло или предпріятіе, мы сочувствуемъ общимъ стремленіямъ и задачамъ всего населенія нашей общей территоріи. Это чувство воспитывается и укрѣпляется общей всему нашему политическому цѣлому исторической судьбой, моментами пережитой славы и несчастья, моментами, когда всѣ мы, даже лично не знакомые другъ съ другомъ, но составляющіе органическія части единаго существа, соединяли свои голоса въ общемъ крикѣ восторга, или проливали общую слезу общаго страданія. Это чувство есть чувство гражданина. Какъ частные люди, мы знаемъ только себя, мы почитаемъ себя центромъ окружающаго общежитія; какъ граждане, мы видимъ въ себѣ лишь частицу цѣлаго; какъ частные люди, мы можемъ любить напр., роскошь, насъ могутъ, положимъ, пріятно щекотать скабресныя нескромности, но какъ граждане, мы высоко цѣнимъ благоразумную умѣрен-

ность и радуемся вытѣсненію порнографическаго элемента изъ предѣловъ нашей общей жизни, литературы и искусства. Такое общеніе, въ силу котораго Жанъ, Пьеръ и Жакъ становятся „французами“, Иванъ, Семень и Федоръ — „русскими“, — такое общеніе есть „государственное“ общеніе. Государство есть общность и цѣлостность всего населенія извѣстной территоріи. Эта общность и цѣлостность получаетъ активную жизнь въ верховной власти, въ правительствѣ, которое своей законодательной и судебно-административной дѣятельностью осуществляетъ наши общія, „гражданскія“ стремленія, дирижируя въ тоже время, въ извѣстномъ отношеніи, и нашей „общественной“, даже нашей личной жизнью, съ цѣлью водворить во всемъ общежитіи стройный порядокъ и гармонію.

Конечно, на государственную дѣятельность сильно вліяетъ ступень культуры, на которой стоитъ народъ, общій уровень просвѣщенія, качества общественной нравственности, характеръ и складъ господствующихъ мнѣній и идеаловъ, и пр. Вопросъ объ этомъ вліяніи весьма широко разработанъ наукою. Увлече-

нія на пути разрѣшенія этого вопроса даже завели многихъ изслѣдователей чрезъ-чуръ далеко, — до отрицанія всякой оригинальности и самостоятельной активности въ дѣлѣ государственнаго управленія. Многие представители науки, какъ напр. Бокль, или какъ излишне строгіе послѣдователи политическаго ученія Канта, или какъ ригористы „исторической школы“ нѣмецкихъ юристовъ, — пришли къ заключенію, будто законодатель есть только писецъ, пишущій подъ диктовку „народнаго духа,“ а администраторъ есть не болѣе, какъ жандармъ, обязанность котораго лишь наблюдать за благочиніемъ въ сутоловѣ общежитія. Ошибочность такого мнѣнія очевидна. Зависимость отъ условій и обстоятельствъ жизни народа, не мѣшаетъ государству выступать могучимъ активнымъ факторомъ въ этой жизни. „Паръ, — говоритъ Милль, — есть движущая сила въ пароходѣ, но направленіе движенія опредѣляется мыслью и волею рулеваго“. Облака образуются изъ паровъ, поднимающихся отъ земли, но это не мѣшаетъ имъ снова возвращаться на землю, или въ видѣ благодѣтельнаго дождя, или въ видѣ жестокаго, всеокрушающаго ливня.

Обусловливаясь въ своей дѣятельности народными правами, государство съ тѣмъ вмѣстѣ само воспитываетъ народъ и вліяетъ на общественную нравственность. Для произведенія такого вліянія государству нѣтъ надобности принимать несвойственный ему характеръ воспитательнаго заведенія, нѣтъ необходимости приравнивать гражданъ къ дѣтямъ, которыхъ нужно вести за руку и снабжать ежеминутно руководящими наставленіями. Правительство направляетъ, поднимаетъ или опускаетъ уровень народной морали, не выходя изъ предѣловъ своей собственной, государственной компетенціи. Такъ, въ области уголовного законодательства, государство хотя и придерживается господствующихъ понятій о добродѣтели и пороѣ, но, распредѣляя кары за совершеніе различныхъ преступленій, преслѣдуя нѣкоторыя изъ этихъ послѣднихъ сильнѣе, другія слабѣе, оно начертываетъ такимъ образомъ общій планъ запретнаго и слагаетъ извѣстную, опредѣленную фیزیономію „зла“. Нѣтъ сомнѣнія, что черты такого *отрицательнаго* идеала не могутъ не содѣйствовать выработкѣ въ обществѣ чертъ соотвѣтствен-

наго положительнаго идеала. Уже самыя кары и мѣры принужденія, сдерживая хотя-бы только внѣшнія проявленія безнравственности, вводятъ тѣмъ самымъ (по справедливому замѣчанію Кавелина) добрыя привычки въ большинствѣ колеблющихся, шаткихъ, слабыхъ и увлекающихся людей. Въ этомъ нельзя сомнѣваться, потому-что соображенія о практическихъ, ближайшихъ и оцутительныхъ послѣдствіяхъ совершенія дѣйствій, всегда вліяютъ сильно на направленіе воли человѣка и поддерживаютъ авторитетъ отвлеченныхъ принциповъ. При этомъ весьма важное значеніе, какъ извѣстно, имѣетъ тотъ или иной характеръ уголовной репрессіи. Если она проникнута жестокостью, то общественные нравы, подъ ея дѣйствіемъ, грубѣютъ: что можетъ устрашить людей, привыкшихъ къ потокамъ крови? Что можетъ почитаться позорнымъ, когда позорный столбъ и плеть обычныя явленія на площади? Съ другой стороны, разслабленная уголовная система, лишенная должной энергіи, потворствуетъ правонарушеніямъ, искушаетъ слабость человеческой души и насыщаетъ общественную атмосферу опасной заразой безнаказанной преступности.

Трудно перечислить съ точностью пути, которыми государство влияет на общественную нравственность. Если учебно-воспитательная система страны проникнута духомъ благородной и солидной дисциплины, то она научитъ питомцевъ школы уважать законы, помнить обязанности и принимать къ сердцу общее благо. Расшатанность-же школы ведетъ къ расшатанности въ общественномъ строе. Если внутреннюю политику проникаетъ духъ индифферентизма и безпринципности, то въ результатѣ получается политическій хаосъ и неурядицы, съ соотвѣтствующими имъ плодами деморализаціи. Политика шпионства и доносовъ ведетъ къ развитію лукавства и подлой трусости, и смѣняетъ благородный образъ подданнаго низкимъ обликомъ раба. Равнодушіе правительства къ области слова и прессы насаждаетъ въ странѣ легкомысліе и пустословіе, насыщаетъ общественную атмосферу софизмами и содѣйствуетъ водворенію умственной анархіи; съ другой стороны, тяжелый, безсистемный гнетъ въ этой области плодитъ лживость и фальшь, вызываетъ литературу мнимо-знаменательныхъ недомолвокъ,

придающихъ нерѣдко значеніе совершенно вздорнымъ личностямъ. Потворство роскоши раздуваетъ тщеславіе; излишне щедрыя подачи разжигаютъ жадность, зависть и недовольство; система-же благоразумной экономіи побуждаетъ одуматься и возвращаетъ къ скромности. Излишняя склонность правительства къ реформамъ разгорячаетъ пульсъ народной жизни и взбиваетъ воображеніе: никто уже не доволенъ существующимъ и всѣ лихорадочно живутъ надеждами и предположеніями; всѣ озабочены тѣмъ, что будетъ, и обнаруживаютъ нерадивость къ тому, что есть и что требуетъ однако-же постоянного, настойчиваго труда и вниманія. Съ другой стороны, система неподвижности окутываетъ страну непробуднымъ сномъ: нигдѣ становится не слышно, ни энергическаго слова, ни спора, ни горячаго восклицанія, ни взрыва досады, ни веселаго смѣха, — повсюду лишь тяжелое дыханіе оцѣпенѣлаго сна. Небрежность правительства къ дѣламъ церкви производитъ религіозное оскудѣніе, причемъ, на опустѣломъ мѣстѣ, водворяются суевѣріе и печальныя недомыслія, въ родѣ вѣры въ „прародительницу-

обезьяну“, въ „первобытную матерію“, и въ прочія гипотезы, которыя толпа, къ своей бѣдѣ, похищаетъ изъ лабораторій науки. Суровая-же нетерпимость въ вопросахъ совѣсти сѣетъ смуту и побуждаетъ людей мечтать о мученическомъ вѣнцѣ, этомъ символѣ „несокрушимой силы слабости“, какъ сказалъ Милтонъ. Не продолжая перечня различныхъ путей вліянія государства на мораль населенія, мы въ полномъ правѣ сказать вообще, что народъ можетъ освѣщаться сверху яркими лучами свѣта, но сверху-же могутъ стекать и нечистые потоки, загрязняющіе долины общественной жизни.

Самый строй государства, самая форма правленія въ немъ придаетъ извѣстный тонъ духовной фізіономіи народа. Не трудно, напр., указать нравственныя тенденціи демократическаго режима, составляющаго предметъ увлеченія западной Европы, съ того времени, когда возникъ идеалъ политическаго устройства, при которомъ каждый человѣкъ являлся бы одновременно, и гражданиномъ, и законодателемъ, и подданнымъ, и государемъ. Осуществленіе этого идеала неизбѣжно лишаетъ

государство значенія самостоятельной личности, олицетворяющей высшее единство народной жизни. Политическій союзъ сливается здѣсь съ союзомъ общественнымъ, съ совокупностью интересовъ отдѣльныхъ единицъ и группъ. При такомъ положеніи вещей, государство, съ его атрибутами — законодательными скрижалями, мечемъ и вѣсами правосудія, не поднимается до надлежащей высоты, одинаково отъ всѣхъ удаленной и одинаково всѣмъ близкой; оно опускается непосредственно въ водоворотъ общественной жизни, гдѣ тысячи рукъ тянутся къ его скрижалямъ и вырываютъ другъ у друга его мечъ, желая воспользоваться и тѣмъ и другимъ въ видахъ удовлетворенія частныхъ, личныхъ интересовъ. Свѣтило древности, Платонъ, имѣвшій возможность собственными глазами наблюдать дѣйствіе такого политическаго механизма, не жалѣетъ красокъ въ своихъ описаніяхъ. „Такое государство, — говоритъ онъ, — напоминаетъ одежду, расшитую разными цвѣтами. Оно можетъ нравиться, подобно тому, какъ женщинамъ и дѣтямъ нравятся пестрая одежды. И въ самомъ дѣлѣ, не отраднo-ли дѣлать все, что хочется? Не

пріятно-ли имѣть возможность сидѣть дома, когда другіе на войнѣ, или выступать въ качествѣ судьи или чиновника, когда къ тому придетъ охота? Что можетъ быть восхитительнѣе политической формы, въ которой найдена возможность сравнять неравное, причѣмъ отецъ становится равенъ ребенку и обратно, гражданинъ равенъ иностранцу, учитель поставленъ на одну линію съ ученикомъ, и юноши подведены подъ одинъ уровень съ старцами, которые стараются всячески поддѣлаться подъ тонъ юношей, чтобы не имѣть сердитаго или деспотическаго вида. Жаль только, замѣчаетъ Платонъ, что этотъ прекрасный государственный строй быстро стремится къ паденію, переходя въ жестокую тиранію, которую налагодить на него корыстные льстецы народа, лукавые защитники безграничной свободы“.

Конечно, въ этихъ словахъ знаменитаго философа нельзя не видѣть значительныхъ преувеличеній, но основныя черты недостатковъ указанной государственной формы отмѣчены Платономъ вѣрно. Его мнѣнія получили подтвержденіе и развитіе въ работахъ представителей политической науки новаго време-

ни, начиная съ Монтескье и Борка, и кончая Миллемъ и Генри Мэномъ. По свидѣтельству этихъ авторитетовъ, демократическій режимъ разрушаетъ цѣлостность и опредѣленность нравственной фizioноміи народнаго обществитія; онъ сѣетъ раздоръ и усобицы, онъ раздуваетъ своеволие и ревнивую зависть, онъ роковымъ образомъ ведетъ къ господству посредственности, къ застою и приниженію общаго духовнаго уровня. Вотъ почему, какъ говоритъ Монтескье, демократическое государство нуждается постоянно въ какихъ-нибудь угрожающихъ обстоятельствахъ, которыя-бы держали его въ тревогѣ: „chose singulière! plus ces Etats ont de sûreté, plus, comme des eaux trop tranquilles, ils sont sujets à se corrompre!“ Но бѣда въ томъ, что и въ тѣ моменты, когда обстоятельства вызываютъ къ энергической, быстрой и рѣшительной дѣятельности, „Vielköpfigkeit“ правительства разсматриваемаго государства обнаруживаетъ свою несостоятельность. Какіе способы имѣетъ оно для проявленія своей воли? Плебисциты?—Но мы знаемъ ихъ значеніе, мы помнимъ утвердительный отвѣтъ семи милліоновъ францу-

зовъ, призвавшій къ власти Наполеона III. Правленіе партій?—Но кому не извѣстны атрибуты этого правленія: случайность склада партій, нерѣдко лежація въ центрѣ ихъ корыстныя цѣли, затѣмъ,—подкупы, нетерпимость, фальшивая, исполненная обмана, политическая литература, и т. д. Можно-ли ожидать послѣдовательности и вѣрности одной системѣ или плану, когда разнообразіе мнѣній постоянно колеблетъ волю государства? Кто меньше, чѣмъ народъ-правитель,—замѣчаетъ Боркъ,—подлежитъ отвѣтственности за свои дѣйствія передъ великою контролирующею силою на землѣ,—передъ судомъ доброй славы и чести? Когда религіозныя или политическія страсти воспаляютъ страну, говоритъ Лабулэ, то кто воспрепятствуетъ политикѣ быть жестокой, а народному собранію подавать голосъ за преслѣдованія и гоненія? На основаніи подобныхъ-же соображеній, Монтескье сказалъ: правительство демократическаго государства, то медленно ползетъ сотнею тысячъ ногъ, то быстро все разрушаетъ сотнею тысячъ рукъ. Такими свойствами народнаго режима обусловливается его

недолговѣчность, указываемая Генри Мэномъ, въ его недавнемъ сочиненіи „Popular government“.

Печальныя слѣдствія раздробленія государственнаго суверенитета на безконечно малыя части, всегда обращали человѣческую мысль къ такому политическому строю, въ которомъ верховная власть была-бы собрана въ одномъ пунктѣ, возвышающемся надъ пестротою частныхъ интересовъ. Уже знаменитые политики классическаго міра, Аристотель и Цицеронъ, обращали свой пристальный взоръ на эту государственную форму, хотя и не могли возвыситься до пониманія ея истинной сущности. Аристотель совѣтовалъ сосредоточеніе власти въ рукахъ такого человѣка, который выдѣляется своими *частными качествами* изъ массы населенія и выдвигается своими *личными способностями, дарованіями и силами* надъ общимъ уровнемъ народа. Онъ думалъ, что такимъ путемъ создается монархія, и въ этомъ его большое заблужденіе.

Рекомендуемаго Аристотелемъ, выдающагося человѣка можно назвать единоличнымъ правителемъ, императоромъ въ классическомъ смыслѣ, цезаремъ,—но не монархомъ. Между

цезаризмомъ — и монархіей большое различіе. Выдвинутый своими частными свойствами (и благоприятными обстоятельствами), аристократическій цезарь постоянно представляет собою, прежде всего, свою собственную личность. Его „исторія“ есть его частная біографія: въ жизни народа его „время“ является какъ-бы случайнымъ эпизодомъ. Его судьба отдѣльна отъ судьбы народа. Его правленіе есть чисто *личное* правленіе; его дѣятельность не имѣетъ корней въ почвѣ государственной жизни, а исходитъ изъ одного центрального пункта, изъ его личныхъ плановъ, замысловъ и интересовъ. Управляемое населеніе служитъ ему лишь матеріаломъ, въ которомъ онъ овеществляетъ свои творческія идеи. Если онъ плохой художникъ, то онъ портитъ матеріаль, и время его власти сохраняется въ памяти народной, какъ тяжелый сонъ. Если онъ обладаетъ прекрасными способностями и добрыми наклонностями, то его правленіе является „счастливой анархіей“. Почему — анархіей? А потому, что его политика не есть историческій моментъ въ органически развивающейся народной жизни: оно всегда

лишь дѣло его личной ловкости и удачи. Все идетъ хорошо лишь потому, что вездѣ выручаетъ его вниманіе и его находчивость. Самъ по себѣ рыхлый и безжизненный матеріаль государственнаго зданія удерживаетъ стройную форму только потому, что этотъ матеріаль весь проникнутъ желѣзной скрѣпой личнаго генія правителя. Но, когда руки, поддерживающія все, ослабѣваютъ, тогда декорации быстро измѣняются: на мѣстѣ только-что бывшаго призрачнаго порядка, мы видимъ жалкую руину.

Совсѣмъ иное представляет собою монархія. Центральнымъ пунктомъ является здѣсь не *частное лицо*, а государственное. Политика монархіи не есть политика случайностей. Напротивъ, народъ имѣетъ въ ней залогъ святости религіи своихъ предковъ, гарантію крѣпости обычаевъ своихъ отцовъ и ручательство за неуклонность въ преслѣдованіи своихъ вѣковыхъ національныхъ цѣлей. Исторія смѣняющихся наследственно монарховъ не есть рядъ частныхъ предпріятій „выдающихся личностей“; это — исторія политической жизни народа. Здѣсь мы видимъ прежде всего одно

дѣйствующее лицо—государство, какъ это прекрасно выразилъ Соловьевъ, говоря о собирателяхъ русской земли: „Всѣ они похожи другъ на друга; въ ихъ безстрастныхъ лицахъ трудно уловить историческія черты каждаго; всѣ они заняты одною думою, всѣ идутъ по одному пути, идутъ медленно, осторожно, но постоянно: каждый ступаетъ шагъ впередъ передъ своимъ предшественникомъ, каждый готовится для своего пріемника возможность ступить еще шагъ впередъ“. Монархъ,—говоритъ пр. Романовичъ-Славатинскій,—не начальникъ войска, не избранникъ народа, не глава государства, не представитель административной власти, не сентиментальный Landevater,— онъ есть идеальное, благотворное и грозное выраженіе государства. Онъ выше всѣхъ, какъ выше всѣхъ государство; поэтому здѣсь нѣтъ почвы для какихъ-либо споровъ, тогда-какъ такіе споры и разномыслія всегда возможны о личныхъ качествахъ и достоинствахъ челоука. Монархъ выше разнообразія міра мнѣній, вкусовъ и симпатій: онъ дорогъ, какъ дорого государство. Монархъ—главный це-

ментъ, связывающій разбросанныя пространства въ единую и цѣльную государственную территорію, и претворяющій разноразличные и разноразличные племена въ мощную націю. Эта связь не есть лишь внѣшняя скръьна, подобная власти восточнаго владыки или аристотелевскаго цезаря. Эта связь есть выраженіе внутренней связи націи, символъ внутренняго политическаго единства народа. Тронъ монарха въ государствѣ подобенъ знамени вождя на полѣ битвы: разбросанные борцы, дѣлая свое дѣло въ самыхъ отдаленныхъ мѣстахъ, не теряютъ изъ-виду этого знамени, и когда оно высится стойко и подвигается впередъ,—всѣ проникнуты бодрой энергіей дружнаго наступленія.

Политическая дѣятельность каждый изъ только-что указанныхъ двухъ государственныхъ формъ оказываетъ извѣстное вліяніе на общественную мораль. Мы коснемся этого вліянія, остановивъ наше вниманіе, во первыхъ, на *нравственномъ значеніи* правленія Наполеоновъ, и, во вторыхъ, на *нравственныхъ тенденціяхъ* русскихъ законодательно-административныхъ мѣръ послѣднихъ шести лѣтъ.

II.

Наполеонъ I *) явился логическимъ плодомъ революціи, прямымъ и непосредственнымъ порожденіемъ 89 и 93 годовъ. Чтобы этотъ — въ полномъ смыслѣ слова — „*homo novus*“ могъ стать у кормила правленія, для этого необходимо было всеокрушающему вихрю отрицанія пронестись по странѣ и разрушить старинные устои жизни, вѣковые инстинкты общественно-политическаго быта, историческій складъ національной фізіономіи. Лишь послѣ того, какъ государственная власть была совлечена съ трона и оказалась лежащей на землѣ, среди ревниво злобствующихъ другъ на друга различныхъ элементовъ, классовъ и партій народа, — лишь послѣ этого могъ выступить впередъ смѣлый иностранецъ и схватить сильной рукой эту поверженную, вырванную изъ національнаго тѣла, власть.

Взявъ корону, Наполеонъ полагалъ, что онъ сталъ императоромъ Франціи и основалъ монархію; но, на самомъ дѣлѣ, онъ сталъ лишь „императоромъ французовъ“ и, если

*) Нижеслѣдующая глава написана до появленія ст. Тэна о Бонапартѣ.

былъ монархомъ, то лишь въ указанномъ выше, аристотелевскомъ смыслѣ. Такой характеръ власти Наполеона самъ собою обозначался уже тѣми рѣчами, которыми привѣтствовали восшествіе на престолъ „генерала Бонапарте“ сановники новой имперіи, — имперіи, „вѣчной“ по предположенію, и десятилѣтней въ дѣйствительности. Камбассересъ говорилъ, между прочимъ, слѣдующее: „Арміи были (во время Директоріи) побѣждены, финансы въ беспорядкѣ, общественное довѣріе уничтожено, партіи оспаривали другъ у друга остатки прежняго величія, понятія о вѣрѣ и морали затмились, привычка давать и отнимать власть лишила сановниковъ уваженія... *И вотъ явился вы:* вы призвали вновь побѣду къ нашимъ знаменамъ, вы возстановили порядокъ и бережливость въ расходахъ, ваша мудрость укротила буйство партій, вѣра узрѣла возстановленными свои алтари... Счастливы народъ, который, послѣ столькихъ смуть и недоумѣній, *находитъ въ лонѣ своемъ чело-вѣка*, способнаго усмирить бурю страстей, согласить всѣ выгоды и соединить всѣ желанія“. Въ такомъ-же духѣ высказывается и

другой ораторъ, Францискъ де-Нёшато: „Революціонная Франція стала жерломъ вулкана, который потрясалъ весь свѣтъ, но поглащалъ самого себя. Чтобы закрыть эту пропасть, *нуженъ былъ человекъ, который былъ-бы выше встѣхъ своихъ современниковъ*; это чудо могло быть дѣломъ лишь силы ума, превосходящаго все окружающее“.

И такъ, государство съ его многосложнымъ прошедшимъ, настоящимъ и будущимъ, исчезаетъ; на первый планъ выступаетъ одинъ человекъ, „выдающаяся личность“. Исторія наполеоновской Франціи начинается итальянскими походами и египетской экспедиціей, поднимается до кульминаціоннаго пункта въ Тильзитѣ, и низвергается въ прахъ при Ватерлоо. Что такое Франція?—Источникъ доходовъ и поставщица рекрутовъ знаменитаго полководца. Чего желаетъ французская нація, каковы ея цѣли? Не извѣстно,—Европа знаетъ только волю и замыслы Наполеона. Жизнь народная смолкаетъ, становясь жизнью одного человека. Мишле въ двухъ словахъ очерчиваетъ своимъ сильнымъ перомъ это своеобразное политическое состояніе: „Съ великихъ идей, съ вели-

кихъ собирательныхъ сюжетовъ, съ народныхъ массъ, исторія переходитъ на личность и становится чистой біографіей. Говорить-ли Лагранжъ о математикѣ, или Ж. С. Иллеръ о естественной исторіи,—передъ ними пожимаютъ плечами и отвѣчаютъ однимъ словомъ: *Вонапарте!*“

Наполеонъ любилъ Францію, но эта любовь не была результатомъ его духовнаго единенія со страной. Онъ любилъ эту страну, какъ необходимое условіе своей личной судьбы, какъ пьедесталъ своего величія. Его постоянною цѣлью была лишь собственная слава. Въ послѣдній моментъ, во время бѣдствій 14 года, когда зданіе его могущества, точно театральная декорация, стало быстро разрушаться, онъ могъ-бы заключить миръ съ союзниками, поступившись своими гордыми притязаніями и чрезмѣрными завоеваніями. Но онъ не хотѣлъ такого мира; онъ извивался въ желѣзномъ кольцѣ союзныхъ армій, онъ ставилъ свои послѣднія ставки, онъ велъ за собою непріятеля въ столицу, онъ проявлялъ энергію азартнаго игрока, забывая интересы народа. И это совершенно понятно. Если бы онъ былъ монархомъ въ настоящемъ смыслѣ слова, если-

бы онъ составлялъ съ государствомъ одно органическое цѣлое, то онъ могъ-бы, вмѣстѣ съ своимъ народомъ и государствомъ, перенести постигшее несчастье, покориться измѣнѣ фортуны, выдержать бурю и дожидаться снова ясной погоды. Но судьба Франціи и Наполеона, отъ начала до конца, была различна: Франція могла претерпѣвать превратности судьбы, но Наполеонъ не могъ раздѣлять ихъ, потому-что у него былъ особый жизненный путь; ему скорѣе приходилось погибнуть, чѣмъ примириться съ исчезновеніемъ лучей славы и съ спокойной жизнью просто императора французовъ. Онъ понималъ, что его тронъ есть искусственное созданіе, что съ исчезновеніемъ обманчиваго призрака, созданнаго шумомъ его побѣдъ и его кипучей личной дѣятельностью, исчезнутъ очарованія и энтузіазмъ, которые произвели столько чудесъ въ храбромъ и пылкомъ народѣ, и которые одни придавали извѣстный смыслъ и опредѣленную фizioномію царству героя Аустерлица. Еще рельефнѣе рознь, о которой мы говоримъ, проявилась въ 15 году. Едва лишь постигла Наполеона измѣна счастья на поляхъ Ватерлоо,

какъ все пришло въ движеніе, все измѣнило, и человѣкъ, бывшій всего двѣ недѣли назадъ повелителемъ государства, оказался безпомощнымъ арестантомъ на англійскомъ фрегатѣ. Возможенъ-ли такой оборотъ дѣла въ странѣ, гдѣ между правительствомъ и народомъ существуетъ духовная солидарность? Бѣдствія 12 года не поколебали Россію; можно съ полною увѣренностью сказать, что и впредь, если судьбѣ угодно будетъ послать намъ испытанія, русская бѣда углубитъ лишь бездну подъ ногами нашего врага.

Какъ-же отразился очерченный выше политическій режимъ въ области народной ответственности?

Если Франція была заслонена Наполеономъ, то, понятно, и французы, дѣти Франціи, т. е. люди, для которыхъ государство не заключалось въ тѣсныхъ границахъ императорской главной квартиры, были заслонены, оттиснуты на задній планъ, людьми „маленькаго капрала“, видѣвшими и знавшими только Наполеона и императора. Такимъ образомъ, доминирующее значеніе въ обществѣ выпало на долю элементовъ населенія, жадныхъ къ сла-

вѣ, почестямъ и богатству, и видѣвшихъ даже въ бѣдствіяхъ войны лишь благопріятный случай къ своему возвышенію. Отсюда рождалось необузданное честолюбіе и слѣпая преданность къ особѣ одного человѣка, такъ-какъ всѣ сознавали, что вмѣстѣ съ могуществомъ этого человѣка должны исчезнуть и эти мечты о славѣ и богатствѣ. Самый характеръ воспитанія сдѣлался узкимъ, специально императорскимъ, военнымъ. Постановленіе временнаго правительства 8 апрѣля 14 года справедливо указывало на то, что „система Наполеона, исключительно направлявшая способности и склонности людей къ военному дѣлу, исторгала дѣтей изъ отцовской власти, давала имъ воспитаніе въ общественныхъ заведеніяхъ, сообразно своей собственной цѣли, и тѣмъ нарушала развитіе разнообразныхъ дарованій, соединеніе которыхъ въ государствѣ составляетъ нравственное богатство народа“.

Какія черты моральнаго образа могли сложиться въ обществѣ, постоянно охваченномъ горячкой быстрой смѣны политическихъ событий и личныхъ судебъ отдѣльныхъ лицъ? Едва-ли можетъ служить удобной атмосферой

для зарожденія благородныхъ и возвышенныхъ характеровъ, лихорадочное положеніе вещей, при которомъ вчерашній бѣднякъ сегодня становится богачемъ, какой-нибудь таможенный чиновникъ мечтаетъ о министерскомъ портфельѣ, каждый солдатъ грезить надеждой стать маршаломъ, цѣною жизни милліона французъ, а каждый маршалъ льститъ себя надеждой перемѣнить свой жезлъ на королевскій скипетръ. Гдѣ необходимая сдержка для человѣческаго честолюбія, когда Мюратъ, сынъ пирожника, занимаетъ неаполитанскій престолъ, а Даву мечтаетъ о королевствѣ польскомъ? Гдѣ необходимая для нравственнаго развитія твердость почвы, когда едва подростящіе поволѣнія поспѣшно выстраиваются въ ряды, безслѣдно тающіе на отдаленныхъ поляхъ битвъ? Что значать общественныя дѣла, семейныя обязанности, искусства и науки, для людей, оторванныхъ отъ отечества, забывшихъ историческія традиціи своей страны, потерявшихъ способность понимать внутреннюю жизнь своей націи? Дѣти,—описываетъ Шатобрианъ (брош. „De Bonaparte et des Bourbons“),—привыкшіе считать себя съ ко-

лыбели жертвами, осужденными на смерть, не хотѣли подчиняться родителямъ; они предавались лѣности, беспорядочности, бродяжничеству, въ ожиданіи призыва идти убивать и грабить. Откуда было взять достаточно времени для укорененія въ ихъ душѣ началъ религіи и морали? Съ своей стороны, отцы и матери обнаруживали меньшую степень заботливости и любви къ дѣтямъ, которыя стали для нихъ уже не утѣхой и опорой старости, а лишь причиной скорби и слезъ. Отсюда должно было слѣдовать всеобщее душевное очерствленіе, ведущее къ эгоизму, нравственному безразличію, къ политическому индифферентизму, и къ прочимъ бѣдамъ, среди которыхъ голосъ протестующей совѣсти замолкъ, и люди перестали ужасаться пороку и цѣнить добродѣтель.

Такимъ-то образомъ, съ высоты узурпированнаго трона, ниспадали въ лоно народной жизни ядовитые ключи моральной отравы. Но дурныя нравственныя вліянія правленія Наполеона I въ значительной мѣрѣ заслонялись шумомъ его славы и звономъ его побѣдоноснаго оружія. Даже позднѣйшій историкъ съ

трудомъ побѣждаетъ въ себѣ невольное пристрастіе къ гевію, который возвышался надъ всѣмъ окружающимъ орлинною зоркостью, неустанной энергіей, желѣзной волей и великой силою ума. Поэтому, чтобы получить болѣе ясный примѣръ вреднаго вліянія дурной политики на общественные нравы, нужно перевести взоръ на другую эпоху исторіи наполеоновской Франціи, на время „второй имперіи“. Здѣсь уже нѣтъ ослѣпляющихъ лучей славы и увлекающихъ чертъ великихъ дарованій. Здѣсь наполеоновская политика обнажена отъ покрывавшихъ ее нѣкогда лавровъ, здѣсь можно безпрепятственно видѣть и изучать ея духовныя язвы.

Если правдивость не была добродѣтелью Наполеона I-го, то уже несомнѣнно, что съ Наполеономъ III-мъ на французскій престолъ взошла безграничная ложь. Уже самая претензія Луи-Наполеона на наслѣдіе послѣ дяди представляли собою ложь. Власть Наполеона I-го, какъ узурпатора, какъ „аристотелевскаго монарха“, была по существу властью личною. Единственнымъ наслѣдіемъ здѣсь могло бы быть лишь наслѣдіе талантовъ. Но личность

племянника была настоящей каррикатурой личности дяди. Въмѣсто сильныхъ взмаховъ орла, свойственныхъ послѣднему, первый былъ способенъ лишь на забавное хлопанье крыльевъ совершенно иной птицы. Что можетъ сравниться съ комизмомъ первыхъ попытокъ Луи-Наполеона овладѣть властью посредствомъ солдатъ, пародируя знаменитое „возвращеніе съ Эльбы!“ Въ первый разъ попытка была сдѣлана въ Страсбургѣ. Передъ солдатами, описываетъ Кинглекъ, очутилась фигура молодого человѣка, съ плохой осанкой, съ глазами опущенными въ землю, и очень похожая на ткача, изнуреннаго долгими часами монотонной работы въ дурно вентилированной комнатѣ; а между тѣмъ этотъ молодой человѣкъ такого вида стоялъ передъ ними одѣтый, среди бѣлаго дня, съ головы до ногъ, въ исторической костюмъ вождя Іены и Маренго. Встрѣтивъ въ казармѣ весьма понятный недружелюбный приемъ, герой бросился назадъ, хотѣлъ вскочить на лошадь, но былъ прижатъ къ стѣнѣ (*sans pouvoit bouger*, по собственнымъ словамъ), и отведенъ подъ арестъ. Вторая попытка, въ Булони, не менѣе комична,

хотя она была совершена съ новыми костюмами и декораціями, и ей предшествовали долгія хлопоты изготовленія фальшивыхъ знаменъ, поддѣльныхъ солдатъ, и приученія несчастнаго орла играть роль „императорской птицы“. „Великая тѣнь Императора говоритъ съ вами моими устами, — зывалъ къ солдатамъ Луи-Наполеонъ. Вотъ орлы, я ихъ снова приношу вамъ, возьмите ихъ... Ваши привѣтственные клики, когда я предсталъ вамъ въ Страсбургѣ (мы только-что видѣли, что было въ Страсбургѣ!), не исчезли изъ моей памяти...“ Но краснорѣчіе не подѣйствовало. Солдаты не узнали въ ораторѣ великой тѣни, а капитанъ Пюйжелье приказалъ арестовать „авантюриста“. Тогда Луи-Наполеонъ выстрѣлилъ нечаянно изъ пистолета (*sans que j'aie voulu le diriger contre qui que ce soit*, по собственнымъ словамъ), солдаты вытѣснили его съ подвижниками изъ казармы, начались бѣгство и травля. Въ концѣ концовъ, носителя великой тѣни вытащили изъ воды, когда онъ пытался сѣсть въ лодку и перебраться на англійскій корабль. Все предпріятіе прозаически окончилось процессомъ, въ которомъ

на скамьѣ подсудимыхъ предсталъ „le-dit Карль Людовикъ Наполеонъ Бонапартъ, 32-хъ лѣтъ, родившійся въ Парижѣ, проживающій въ Лондонѣ, роста 1 м. 60 сентим., волосы русые, глаза сѣрые, носъ большой, ротъ и подбородокъ умѣренные“.

Потериѣвъ полное крушеніе въ своихъ воинственныхъ попыткахъ, „претендентъ“ повелъ дѣло по другому пути, по пути мирной пропаганды своихъ притязаній статьями подкупленной прессы, специальными брошюрами, и пр. Обстоятельства благоприятствовали его начинаніямъ. Импровизированной въ 1848 году республикѣ недоставало республиканцевъ; слабость конституціи открывала возможность всякимъ случаямъ: „Ламартицъ съ своей поэзіей приготовилъ Наполеона III съ его прозой“. Къ тому-же общество охвачено было боязнью революціи и страстнымъ стремленіемъ къ сохраненію во что-бы то ни стало внѣшняго и имущественнаго порядка. Республика того времени боялась республиканцевъ и жаждала власти, которая была-бы въ силахъ изгнать пугавшій буржуазію „красный призракъ“.

Само собою разумѣется, такое умонастроеніе оказалось весьма удобнымъ для цѣлей Луи-Наполеона, и онъ предложилъ дать обществу искомую сильную власть. Но, конечно, это его предложеніе не было откровеннымъ словомъ честнаго гражданина, или смѣлымъ шагомъ отважнаго узурпатора; это были похотливо робкіе приемы мелкаго похитителя чужой собственности, приемы, прикрытые безмѣрнымъ обманомъ, безграничною ложью. Ища власти, какъ источника эгоистической славы и благополучія, идя на завладѣніе трономъ, племянникъ знаменитаго дяди ежеминутно клялся въ вѣрности и преданности республикѣ. Въ рѣчи, послѣ избранія въ учредительное собраніе, 23 сент. 48 г., онъ говорилъ: „Здѣсь никто тверже меня не рѣшился посвятить себя защитѣ порядка и укрѣпленію республики“. Въ избирательномъ манифестѣ 27 ноября 48 г. онъ писалъ: „Я не честолюбецъ, который мечтаетъ, то объ имперіи и войнѣ, то о примѣненіи разрушительныхъ теорій“. Избранный президентомъ, онъ присягалъ: „Въ присутствіи Бога и передъ французскимъ народомъ, я влянусь пребывать вѣрнымъ демо-

кратической республикѣ“. Уже обнаруживъ воочию истинную сущность своихъ стремлений, онъ не оставлялъ маски обмана, и, въ отвѣтъ на поздравленія съ окончаніемъ дѣла, говорилъ языкомъ запутанной фальши: „Франція отвѣтила на прямодушный призывъ, который я ей сдѣлалъ. Она поняла, что я отступалъ отъ законности только для того, чтобы возвратиться къ праву (que je n'étais sorti de la légalité que pour rentrer dans le droit)“.

Конечно, предложеніе и окончаніе дѣла соотвѣтствовали его началу. Ложью проникнуто было каждое слово и каждый шагъ политики второй имперіи. Конституція говорила объ отвѣтственности Наполеона III передъ народомъ, но не объясняла, какимъ образомъ можетъ народъ призвать къ отвѣту главу сложнаго и могучаго административнаго механизма и полнаго хозяина многотысячной арміи? Конституція выдвигала на видъ ограничительныя учрежденія: „охранительный сенатъ“, — но этотъ сенатъ, своеобразно устроенный, справедливо называли лишь „охранителемъ собственныхъ окладовъ“; законодательный корпусъ, — но онъ былъ поставленъ въ условія, дѣлавшія его безличнѣ нынѣш-

няго германскаго рейхстага. Повсюду, за громкой фразой и различными литературными украшениями, здѣсь сквозила голая истина — произволь чужестранца, не имѣющаго ничего общаго со страной и видящаго въ этой послѣдней только источникъ личнаго возвеличенія и обогащенія. Удивительно-ли, что политика личныхъ вождельній нуждалась въ постоянныхъ драпировкахъ фальши, — комичной или возмутительной, но всегда неизмѣнной? Жениась на Евгеніи Богарнэ, Наполеонъ III, съ видомъ благородной откровенности, сообщилъ народу: „Я уступаю моему сердечному расположенію, которое ставлю выше династическихъ расчетовъ“; т. е. выше брака съ особою изъ какого-либо царствующаго дома. Но кому-же не были извѣстны отказы, полученные имъ предварительно отъ кн. Вазы и кн. Гогенцоллерна? Онъ неоднократно провозглашалъ, что „его власть есть миръ“, однако-же войны слѣдовали одна за другой. То „экспедиція въ Кабилию“, предпринятая съ цѣлью „надѣлать, удобныхъ генераловъ“; то крымская война, начатая съ цѣлью „сдѣлать что нибудь“ для занятія народа, причемъ не постѣснялись

провозгласить передъ походомъ: „Провидѣніе благословитъ наши усилія, потому что свято въ глазахъ Бога то дѣло, которое утверждаетъ на справедливости, гуманности и любви къ отечеству“. Затѣмъ, исполненная коварства и позора мексиканская авантюра, и т. д. Въ концѣ концовъ, пресиджитаторская политика Наполеона столкнулась съ подобною-же, но только болѣе расчетливою политикою Бисмарка, и исчезла, какъ непріятный сонъ.

Такая политика должна была приносить соотвѣтственные плоды на нивѣ общественной нравственности. Когда идетъ работа осуществленія предосудительныхъ цѣлей, тогда необходимы предосудительные люди. И въ самомъ дѣлѣ, чье имя изъ сотрудниковъ Наполеона III окружено ореоломъ чести и благородства? Группа ближайшихъ сподвижниковъ была группой болѣе или менѣе ловкихъ проходимцевъ: Морни — дѣлецъ, видѣвшій въ имперіи лишь выгодную спекуляцію, Флери — энергичный кутила, которому невозможно было жить безъ денегъ, Сентъ-Арно — искусственно созданный генераль на всѣ руки, Мона, — лишенный способности отличать бѣлое отъ чернаго. Все это

репутаціи, твердо сложившіяся и весьма опредѣленные. И это понятно. Случайно похищенная власть поспѣшно вербуетъ людей, готовыхъ пристать къ первому представившемуся дѣлу, чтобы дать удобный исходъ своему духовному и матеріальному банкротству. Все, что есть худшаго, оставшагося отъ прежнихъ временъ, бѣжитъ на встрѣчу симпатичному для него знамени. Когда случайная удача оказывается стоящей у кормила правленія, тогда эта удача становится лозунгомъ всѣхъ; награда вѣнчаетъ уже не усилія и трудолюбіе, а одинъ успѣхъ. Всѣ вѣрятъ въ капризы случая, въ чудеса счастья, — и дѣйствительно, чудеса являются: много невѣроятныхъ невозможностей стали возможными послѣ 2-го декабря.

Преслѣдуя личные цѣли эгоистическаго благополучія, политикѣ приходилось заботиться и о томъ, чтобы насыщать жажду частныхъ интересовъ чужихъ эгоизмовъ. И вотъ, придумываются большія работы, Парижъ превращается въ гигантскую мастерскую. Заражаясь новымъ „движущимъ принципомъ“ государства, всѣ бросились захватывать вновь изобрѣтенныя и открывшіяся мѣста, большія со-

держанія, доходныя монополіи. Легитимисты, — описываетъ Делоръ, — консерваторы, либералы, свирѣпые радикалы 48 года, умѣренные республиканцы 49 года, все это устремилось впередъ, наперерывъ протягивая руку, сгибая спину, измѣняя тому, что прежде почиталось, и почитая то, что прежде презиралось. Настала часъ великихъ аферъ. Буржуазія ломилась на биржу и въ переднія министровъ. Подъ предлогомъ кредита, были основаны гигантскіе игорные дома съ привилегіей правительства. Искусство выманивать у добродушныхъ людей сбереженія и замѣнять ихъ клочками бумаги, представляющими фантастическую цѣнность, было возведено на степень учрежденія. Начался чудовищный танецъ милліоновъ. Параллельно съ этимъ развивалась роскошь. Императоръ подавалъ примѣръ, богатые подражали ему, бѣдные тянулись въ слѣдъ. Недостающее приходилось добывать всѣми способами. Уже черезъ два мѣсяца послѣ водворенія имперіи, официальная газета *Moniteur* принуждена была опровергать слухи о „финансовыхъ предпріятіяхъ, которыми будто-бы занимаются сановники“. Въ-

стѣ съ царствомъ лжи, лихорадочной алчности, роскоши, водворилось и царство чувственной распущенности. Скромное сіяніе семейныхъ добродѣтелей померкло передъ наглостью, яркимъ свѣтомъ міра куртизанокъ; робкій шопотъ цѣломудренной любви вызывалъ насмѣшку, общество приучалось цѣнить лишь беззащитный хохотъ цинизма.

Едва-ли нужно напоминать подробнѣ факты, которыми достаточно подтверждается первая часть приведеннаго нами положенія Шатобриана: „un gouvernement pervers introduit le vice chez les peuples“. Глубоко радуясь возможности найти у себя, въ отечествѣ, оправданіе второй части того же изреченія: „comme un gouvernement sage fait fructifier la vertu“, мы сдѣлаемъ ниже попытку указать *нравственныя тенденціи* законовъ и политическихъ мѣръ послѣднихъ шести лѣтъ.

III.

На рубежѣ этихъ шести лѣтъ имѣло мѣсто событіе чрезвычайной важности для всей Россіи. Ударъ 1-го марта 1881 года поразилъ

одинаково тяжело русских, всѣхъ состояній и званій. *Духовенству* нанесено было оскорбленіе въ его религіозномъ чувствѣ страшной вѣстью о кончинѣ Помазанника Божія; *воинство* преисполнилось негодованіемъ, при видѣ измѣнническаго преступленія, направленаго противъ Вождя, Который еще такъ недавно дѣлилъ съ своею арміей труды на поляхъ Болгаріи; *правящіе и судящіе* люди почувствовали угрозу своему государственному значенію, ибо ихъ авторитетъ есть только отблескъ авторитета верховной власти. Всѣ русскіе, какъ *подданные*, не могли не ощутить въ душѣ безпокойства совѣсти, такъ какъ они присягали въ вѣрности своему государю и клялись не щадить своей жизни, до послѣдней капли крови, при защитѣ государства. Всѣ русскіе, какъ *граждане*, не могли не видѣть величайшаго униженія своей національной гордости въ разбойническомъ нападеніи на то, въ чемъ средоточіе и олицетвореніе величія страны. Всѣ русскіе, какъ *люди*, не могли сдержать скорбнаго вопля, услышавъ болѣзненный, страдальческій стонъ чело-вѣка, котораго они привыкли уважать и

любить. Наконецъ, всѣ русскіе, какъ *мыслящія существа*, не могли не смутиться подъ гнетомъ возникавшихъ вопросовъ: гдѣ же справедливость? Гдѣ здравый смыслъ и гуманность? И если, вмѣсто всего этого, есть только безуміе, слѣпая жадность и животная свирѣпость, то высока-ли цѣнность чело-вѣческой жизни?

Но, облекши трауромъ всю Россію, событіе 1-го марта послужило ей великимъ урокомъ. Оно, подобно удару грома, заставило ее одуматься. Великія послѣдствія великихъ несчастій заключаются въ томъ, что люди вступаютъ на путь покаянія, которое есть первая ступень пути исправленія.

Еще не прошло первое оцѣненіе ужаса отъ страшной вѣсти, когда русская церковь, исконная нравственная руководительница народа, возвысила свой голосъ, и, устами Св. Синода (18 апрѣля 1881 года), изобразила моральныя черты нашего общества. „Святая вѣра, — сказано въ этой обличительной и учительной рѣчи, — обуревается, заповѣди благочестія не исполняются, благіе обычаи остаются, преданія отеческія ни во что вмѣ-

няются. Въ семейную и супружескую жизнь вошли разладъ и нестроевіе, въ воспитаніе дѣтей разслабленіе и потворство, въ службу государству и обществу — нерадѣніе и своекорыстіе, въ науку — необузданное вольномысліе, въ душу каждаго — гордость, любостязаніе, жажда удовольствій, невоздержаніе и зависть“. Можно-ли оспаривать прискорбную вѣрность этого изображенія?

Вдумываясь въ указанія пастырскаго обличенія, мы съ полной ясностью вспоминаемъ характеристическія черты столь недавней моральной атмосферы нашей жизни. Эта жизнь была проникнута болѣзненной, лихорадочной тревогой; сакраментальное слово: „впередь!“ переходило изъ устъ въ уста. Исполненная неопредѣленныхъ порывовъ „изъ мрака къ свѣту“, мысль вожаковъ того времени презирала прошедшее и игнорировала настоящее. Предполагалось создать нѣчто изъ ничего; отрицалась многовѣковая исторія страны, ея стародавнія задачи и выработавшіяся традиціи, — точно Россія родилась сегодня и для нея не существуетъ вчерашняго дня. Семья разломилась на двѣ, чуждыя другъ другу,

части, носившія названіе „старого и новаго поколѣнія“. „Отцы“, заклеимленные именемъ „отсталыхъ людей“, безмолвно и подобострастно отступили къ сторонѣ, лишая общество своей долготѣней, продуманной, прочувствованной, а иногда и выстраданной опытности, и очищая поле дѣйствія „молодымъ“, во всѣхъ смыслахъ — зеленымъ. „всходамъ“. Въ чемъ-же состояло „новое слово“ новыхъ дѣятелей? Люди, — слышалось изъ лагеря „дѣтей“, — должны стать прежде всего „критически-мыслящими личностями“. Но „критика“, какъ огульное отрицаніе всего существующаго, есть не подвигъ, а легкомысленное буйство незрѣлой, неумудренной опытомъ, не дисциплинированной мысли, и самое дешевое средство выдѣлиться изъ толпы, драпируясь въ тогу „протестующаго генія“. Такая „критика“ составляетъ лишь излюбленную стихію человѣческой юности, когда приливы молодыхъ силъ пользуются просторомъ, который открываетъ имъ еще не устраненное невѣжество, не сознающее истины афоризма: „la critique est aisée, mais l'art est difficile“. Чтобы критика являлась солиднымъ дѣломъ, она необходимо должна опи-

ратся на солидныя *положительныя* основанія, на твердые критеріи, на точные масштабы. Что-же служило такимъ необходимымъ базисомъ для „мышленія“ и дѣятельности „героевъ протеста?“ Наука? Да, они безпрестанно ссылались на нее, они дѣлали изъ нея пьедесталь для своего мнимаго величія, они терроризировали ею скромный людъ „отсталыхъ“ и „устарѣвшихъ“. Но кто въ силахъ измѣрить всю бездну недомыслия, прикрывавшагося этимъ словомъ!

Наукой оправдывалась замѣна религіозныхъ понятій страннымъ вѣрованіемъ, неуклюже сколоченнымъ изъ гипотезъ Лапласа, Бюхнера, Дарвина и иныхъ. Но наука, какъ продуктъ человѣческаго ума, не можетъ простираться дальше предѣловъ доступнаго силамъ этого ума; она, съ ея анализомъ и критикой, совершенно бессильна въ сферахъ, скрытыхъ отъ нашего чувственного знанія завѣсой тайны. Въ области политики, безпомощно блуждавшее „критическое мышленіе“ наталкивалось на идеи космополитизма и парламентаризма. Но нужно много невѣжества, чтобы счесть эти идеи положеніями, выводами

или требованіями науки. Во-первыхъ, идея космополитизма отнюдь не „новое слово“. Уже на почвѣ классической Эллады циникъ Діогенъ провозглашалъ себя „гражданиномъ всего міра“ и тѣмъ обеспечивалъ себѣ возможность относиться съ одинаково злобнымъ презрѣніемъ ко всему, какъ отечественному, такъ и чужому. Уже Эпикуръ объявлялъ себя космополитомъ, чтобы въ политическомъ индифферентизмѣ найти опору для своего эгоистическаго исканія „спокойствія души“. Не будучи новымъ, слово космополитизмъ отличается большою неопредѣленностью. Въ чемъ заключается это „всемірное государство“, ради интересовъ котораго мы должны забыть интересы нашего отечества? Такого общечеловѣческаго законченнаго цѣлаго не существуетъ. Есть исторія развитія человечества, которая создается и подвигается дружными усилиями всѣхъ народовъ. Каждый изъ этихъ послѣднихъ творить, сообразно собственнымъ свойствамъ и силамъ, извѣстную форму благополучнаго общежитія, и тѣмъ создаетъ новую сторону и новый шагъ въ исторіи человечества. Идея космополитизма,

въ практическомъ примѣненіи, побуждаетъ къ пожертвованію дѣйствительнаго мнимому, и, въ концѣ концовъ, приводитъ къ тому политическому „нерадѣнію“, о которомъ говоритъ пастырское слово Св. Синода.

Точно такъ-же нельзя считать и парламентаризмъ „велѣніемъ науки“ или „откровеніемъ разума“. Конституціонализмъ есть не болѣе, какъ историческій фактъ. Это одна изъ политическихъ формъ, выработанная извѣстной, опредѣленной группой государствъ. Можно-ли простой фактъ возводить до значенія исключительнаго и конечнаго идеала политическаго совершенства? Можно-ли утверждать, что этотъ идеалъ является обязательнымъ, желательнымъ, или хотя-бы желаемымъ у насъ? Развѣ мы видимъ вокругъ себя бьющую ключомъ любовь къ общему дѣлу? Развѣ мы видимъ въ окружающемъ неуправляемое рвеніе къ служенію обществу? Кто можетъ утверждать по совѣсти существованіе у насъ самоотверженныхъ дѣятелей, съ продуманными политическими задачами и выработанными программами, которыхъ пылъ и таланты будто-бы только тормозить и сдер-

живаетъ правительство? Не должна-ли, напротивъ, пугать благомыслящаго гражданина самая мысль о врученіи судьбы всего государства пестрой сходкѣ лицъ, которыхъ пригодность къ дѣлу рѣшительно ничѣмъ не общается? „Эта непригодность,—скажутъ,— есть слѣдствіе непривычки: плавать выучиваются плавая“. Но мы можемъ провѣрить это возраженіе, обративъ испытующій взоръ на Западъ. Тамъ уже нельзя ссылаться на недостатокъ опытности, тамъ уже довольно было всякаго „плаванья“, и по волнамъ политическихъ бурь, и даже по обильнымъ потокамъ крови. И что-же? Развѣ достигнута тамъ надлежащая степень политическаго благополучія? Развѣ обеспечено тамъ спокойствіе отъ взрывовъ фанатизма и безумія? Солиднѣйшіе представители западной политической мысли останавливаются въ смущеніи предъ разочаровывающими фактами, и констатируютъ съ грустью симптомы разложенія парламентарнаго строя. Неужели-же вѣчная судьба Россіи состоятъ прислужницей Европы и мечтать о старыхъ обноскахъ съ барскаго плеча? Противупоставляя парламентарное правле-

ніе чисто монархическому, думаютъ противополо-
 ставлять царству гуманности царство какой-то
 грубой жестокости. Но это величайшая несправе-
 дливость. Парламентъ можетъ покровительство-
 вать разстрѣливанію массами сипаевъ въ Индіи,
 онъ можетъ поддерживать варварство башибу-
 зуконъ и разныхъ самозванныхъ „регентонъ“,
 — монархія можетъ снимать цѣпи крѣпостни-
 чества, и вести народъ на битву съ утѣсни-
 телями единовѣрцевъ и единоплеменниковъ.

Наконецъ, нужно-ли упоминать объ обще-
 ственно-экономическихъ фантазіяхъ нашего
 „смутнаго времени“? Обожаніе „свободы“
 здѣсь выступало въ странномъ союзѣ съ со-
 ціалистическими и коммунистическими утопія-
 ми. Между тѣмъ, нѣтъ бѣльшаго врага свободы,
 чѣмъ строй соціализма и коммунизма, ибо
 альфа и омега этого строя есть невиданное
 донинѣ закрѣпощеніе человѣческой личности.
 Прудонъ хорошо понималъ дѣло, когда, по-
 лемизируя съ сенъ-симонистами, писалъ:
 „Пусть я буду бѣденъ вслѣдствіе необходи-
 мости или случайности, я могу покориться,
 разсудивъ, что это касается, въ концѣ кон-
 цонъ, только внѣшности моего существа, по-

верхности моей личности. Но когда первосвя-
 щенникъ (т. е. глава сенъ-симонистической
 общины) г. Анфантенъ и его супруга, г. Лам-
 беръ или всякій другой, позволяетъ себѣ так-
 сировать мои способности, опредѣлять мое
 мѣсто подъ солнцемъ, назначать мнѣ пор-
 цію, присуждая себѣ милліоны, я признаюсь,
 что это меня возмущаетъ, и еслибы я имѣлъ
 честь жить въ „церкви“ (общинѣ) Сенъ-Си-
 мона, мое первое движеніе было-бы надавать
 пощечинъ первосвященнику“. Угрожая чудо-
 вищнымъ гнетомъ человѣческой личности, раз-
 сматриваемыя утопіи игнорируютъ азбуку по-
 литики, которой первое слово говоритъ о не-
 обходимости соответствія учрежденій духу и
 складу характера людей даннаго времени и
 мѣста. Неужели-же можно хотя на одну ми-
 нуту предположить, что духъ современности
 соответствуетъ идиллическимъ пѣснямъ на
 тему „всеобщаго братства“ и „родственной
 общности моего и твоего?“ Чья близорукость
 простирается до того, чтобы не видѣть, что
 нашъ вѣкъ есть желѣзный вѣкъ, и что кру-
 гомъ кипитъ (по вѣрному указанію св. Си-
 нода) „гордость, любостыжаніе, жажда удо-

вольствій, невоздержаніе и зависть?" Кто, наконецъ, настолько наивенъ, чтобы не замѣтить, что подъ знаменами съ чувствительными надписями, выступаетъ обыкновенно озлобленная неудачливость и жадная зависть, выступаетъ съ цѣлью спутать установившійся складъ жизни и въ этой смутѣ захватить болѣе выгодное мѣсто? Политическіе и экономическіе тезисы, нравственныя сентенціи, выдвигаются для прикрытія затаенныхъ порывовъ неудовлетвореннаго, гложущаго тщеславія и разбойнической корысти, грезящей идеалами Разина и Пугачева. И такими-то руками, среди такой обстановки, мечтаютъ о созиданіи царства всеобщей любви!

Какимъ-же образомъ подобные плоды недомыслія и противуобщественныхъ инстинктовъ не встрѣтили рѣшительнаго отпора въ устойчивыхъ элементахъ нашего общества? Не есть-ли это, на самомъ дѣлѣ, результатъ непростительной гражданской лѣности и апатіи, „потворства и разслабленія?"

Къ указаніямъ нашихъ нравственныхъ золь, „обращеніе" св. Синода присоединило глубокія по мысли внушенія и увѣщанія. Къ учи-

телямъ и пастырямъ церкви: „Образъ будите вѣрнымъ словомъ, житіемъ, любовью, духомъ, вѣрой, чистотою". Къ отцамъ семействъ: „являйте дѣтямъ въ себѣ самихъ живой образъ страха Божія, добрыхъ нравовъ, вѣрности долгу и присягѣ, повиновенія властямъ, воздержанія и порядка. Въ страшный день судный, когда предстанете съ дѣтьми своими предъ грознаго Судію, —какой отвѣтъ дадите Ему о вашемъ нерадѣніи?" Женамъ и матерямъ: „На васъ лежитъ святой долгъ сѣять доброе сѣмя грядущихъ поколѣній. Вѣрою и благочестіемъ, кротостью нрава, чистотою и благостью, плѣняйте мужей и дѣтей своихъ въ доброе житіе и во всякую добродѣтель". Такою-же возвышенностью звучать и увѣщанія къ наставникамъ и воспитателямъ юношества, къ правителямъ и судьямъ, — „о безкорыстіи и о вѣрности долгу гражданина".

Глубоко отраднѣй фактъ заключается въ томъ, что эти благотворныя совѣты не остались лишь въ области *ria desideria* пастырской кафедры. Царскій манифестъ 29 апрѣля 1881 года явился могучимъ звеномъ, соединившимъ благочестивыя пожеланія церкви съ

дѣйствительною жизнью государства. Манифестъ ободрилъ оцѣпенѣвшую въ скорби Россію и начерталъ программу будущаго: „Да ободрятся пораженные смущеніемъ и ужасомъ сердца вѣрныхъ нашихъ подданныхъ, всѣхъ любящихъ отечество и преданныхъ изъ рода въ родъ наслѣдственной царской власти. Подъ сѣнью ея и въ неразрывномъ съ нею союзѣ земля наша переживала не разъ великія смуты и приходила въ силу и славу посреди тяжкихъ испытаній и бѣдствій, съ вѣрою въ Бога, устрояющаго судьбы ея“. Къ этому ободренію, въ которыхъ мужественная энергія сливается съ возвышенной прямою, присоединено точное и ясное указаніе подлежащаго пути: „Посвящая себя великому нашему служенію, мы призываемъ всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ нашихъ служить намъ и государству вѣрой и правдой, къ искорененію *нужной* крамолы, позорящей землю Русскую, — къ утвержденію *вѣры и нравственности*, — къ добродушному воспитанію *дѣтей*, — къ истребленію *неправды и хищенія*, — къ водворенію *порядка и правды въ дѣйствіи учреждений*“.

Строго опредѣленные указанія манифеста распространены по всѣмъ отраслямъ государственнаго управленія различными правительственными органами, составляющими орудія исполненія верховныхъ предначертаній. Такъ, одинъ органъ (см. циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ губернаторамъ, 6-го мая 1881 года) вскрываетъ язвы нашего общежитія и говоритъ о „чуждомъ религіозныхъ основъ и твердыхъ нравственныхъ правилъ воспитаніи, которое дается дѣтямъ“, о „бездѣйствіи властей, небрежномъ исполненіи обязанностей и равнодушіи къ общему благу со стороны многихъ административныхъ и общественныхъ дѣятелей“, о „корыстномъ отношеніи къ государственному и общественному достоянію, которое составляетъ столь обычное у насъ явленіе“. Моральное дѣйствіе такихъ указаній не подлежитъ сомнѣнію. Гражданинъ видитъ, что окружающія его „обычныя явленія“ усмотрѣны и на нихъ обращено недремлющее око. Тотъ-же органъ власти выражаетъ, затѣмъ, энергическую угрозу противъ „всякаго насилія и самоуправства“, порицаетъ „снисходительное отношеніе общества къ не-

законнымъ способамъ наживы“, и говорить: „нравственная чистота, вѣра въ свое дѣло и преданное служеніе дѣлу должны быть святы для всѣхъ и каждаго“, „хищеніе должно быть пресѣкаемо и преслѣдуемо, гдѣ-бы оно ни обнаруживалось“.

Въ циркулярѣ другаго органа власти (министра народнаго просвѣщенія къ попечит. уч. окр., 5-го мая 1881 года) читаемъ: „Не одна только сумма извѣстныхъ знаній требуется отъ будущаго гражданина: ему не менѣе нужна крѣпость нравственной природы и духа“, что добывается „изъ бесѣдъ съ наставниками и изъ примѣра жизни сихъ послѣднихъ“; „школа должна быть въ общеніи съ семьей“; „не должно быть послабленія, но требуется сочувственное вниманіе“; „жизнь училищъ должна быть открыта общественному взору; чѣмъ она будетъ правильнѣе, чѣмъ болѣе въ ней будетъ царить живой духъ, а не мертвая форма, тѣмъ болѣе школа будетъ уважаема и любима“.

Уже изъ приведенныхъ немногихъ данныхъ выясняются основныя черты общаго образа нашей новой политики: укрѣпленіе государ-

ственнаго строя на твердомъ базисѣ исконныхъ, историческихъ, національныхъ устоевъ, проникновеніе этого строя духомъ православнаго христіанства, и настойчивое стремленіе вдохнуть чистую душу въ наше общественное тѣло, положивъ за твердое правило, что благополучіе государства обусловливается не одними учрежденіями, но преимущественно внутренними силами человѣческаго духа, оживляющаго или мертвящаго внѣшнія формы. Мы не предполагаемъ изслѣдовать здѣсь-же осуществленіе указанныхъ тенденцій по всѣмъ отраслямъ государственной жизни; но мы отмѣтимъ главнѣйшіе факты въ этомъ отношеніи.

IV.

Продолжая дѣло предшествовавшаго царствованія, наша новая политика прежде всего обратила пристальное вниманіе на участь многомилліоннаго крестьянскаго населенія Россіи. Законодательнымъ актомъ о „пониженіи выкупныхъ платежей“ оказана была матеріальная помощь крестьянамъ и ускорено окончаніе переходной эпохи „временно-обязанно-

сти“, чѣмъ достигнуты важные результаты просвѣтленія нравственной атмосферы общественной, всегда смущаемой моментами переходной неопредѣленности. Затѣмъ, по тому-же пути выдвинуты крупныя мѣры: открытіе крестьянскаго банка, предложившее содѣйствіе дешеваго кредита для приобрѣтенія земли, и значительно усилившее наиболѣе устойчивый и консервативный во всякомъ государствѣ классъ, — классъ обеспеченныхъ поземельныхъ собственниковъ. Далѣе, идутъ податныя реформы, перемѣщающія извѣстнымъ образомъ центръ платежной тяжести съ менѣе состоятельныхъ элементовъ населенія на болѣе состоятельные: отмѣняется подушная подать (зак. 28 мая 1885 года) и устанавливается налогъ на наслѣдства, на процентныя бумаги, дополнительный сборъ съ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій (зак. 28 іюня 1885 года). Заботливое вниманіе не обходитъ даже деталей: такъ, законъ 18-го марта 1886 года стремится устранить бѣды, проистекающія отъ семейныхъ раздѣловъ въ крестьянскомъ быту. Помимо своей экономической важности, эта мѣра имѣетъ и нравственное значеніе, про-

тивудѣйствуя косвенно легкомысленнымъ семейнымъ разладамъ, которые питаются легкой возможностью раздѣла. Законъ 12 іюня 1886 года, о наймѣ сельскихъ рабочихъ, такъ-же проникнуть чрезвычайно серьезной двойственной тенденціей. Упорядочивая хозяйственныя отношенія, онъ стремится прекратить водворившееся въ деревнѣ „естественное состояніе“ безправія, онъ становится на стражѣ исполненія договоровъ“, что всѣми политическими мыслителями всегда ставилось въ край угла государственнаго быта; законъ намѣревается возстановить утраченное „чувство законности“, безъ котораго общежитіе есть не болѣе, какъ спутанный клубокъ частныхъ интересовъ, произволовъ и неправдъ. Еще ранѣе (законы 1882, 1885, 1886 г.). приняты были мѣры къ водворенію началъ гуманности, справедливости и нравственной чистоты въ сферѣ фабричнаго труда; здѣсь мы находимъ нормированіе работы женщинъ и дѣтей, охраненіе рабочихъ отъ опасныхъ и вредныхъ условій фабричной жизни. Во все протяженіе разсматриваемыхъ лѣтъ, правительство озабочено такъ-называемымъ „питей-

нымъ вопросомъ“, причемъ центръ тяжести заботъ лежитъ не въ выгодахъ фиска (казны), а въ соображеніяхъ о проистекающихъ отъ пьянства, моральныхъ и матеріальныхъ бѣдствіяхъ народа. Это явствуетъ изъ словъ, сказанныхъ между прочимъ въ рѣчи министра финансовъ къ „свѣдущимъ людямъ“, призваннымъ для обсужденія вопроса (1881 г.): „Интересы казначейства, въ настоящую минуту, не должны заслонять отъ насъ правственныхъ задачъ и выгодъ будущаго отъ поднятія уровня народной нравственности и народнаго благосостоянія“. Можно было-бы еще указать на мѣры по крестьянскимъ переселеніямъ, по развитію обязательнаго страхованія, и т. д.

Окидывая взоромъ длинный рядъ перечисленныхъ законовъ, исполненныхъ заботъ объ одномъ изъ элементовъ населенія Россіи, можно было-бы заключить, что наша политика впадаетъ въ односторонность, что она забываетъ однихъ членовъ русской государственной семьи ради другихъ. Но сдѣлать такой выводъ нельзя, имѣя передъ глазами другой рядъ мѣръ и положеній. Высочайшій рескриптъ дворян-

ству 21 апрѣля 1885 года говоритъ: „Дворянство Россійское, слѣдуя завѣту предковъ—служить вѣрой и правдой Государеву службу и полагать благородство въ вѣрности и честь свою въ правдѣ, — неуклонно служило Царямъ земли русской главною опорой въ управленіи государствомъ и въ оборонѣ отъ враговъ внѣшнихъ; въ трудные-же дни испытаній съ безпримѣрнымъ одушевленіемъ, какъ одинъ человѣкъ, отзывалось на призывъ отечества. Сердцу Нашему пріятно признать сіе и Царскимъ словомъ Нашимъ засвидѣтельствовать. — Попеченіе Наше обращено при семъ на то, чтобы облегчить имъ (двор.) способы и впредь выполнять съ честью столь высокое призваніе, дабы дворяне тѣмъ болѣе привлекались къ постоянному пребыванію въ своихъ помѣстіяхъ, гдѣ предстоитъ имъ преимущественно приложить свои силы къ дѣятельности, требуемой отъ нихъ долгомъ ихъ званія“. Этими послѣдними словами дворянству указывается высокое дѣло: внести свѣтъ правды и возвышеннаго благородства въ міръ сельскаго общежитія, въ которомъ дышащее алчностью міроѣдство свило себѣ гнѣздо, и въ

которомъ дворянство, смѣшанное въ общую массу населенія и лишенное своего историческаго ореола священныя обязанности, при-
нуждено было вступить, въ качествѣ „экономическихъ единицъ“, въ неразволочную битву частныхъ интересовъ, ослабѣвая до послѣдней степени „захудалости“, или выплывая на верхъ экономической волны усвоеніемъ недворянскихъ свойствъ кулачества. Помимо названной роли, рескриптъ говоритъ объ обязанностяхъ и „на другихъ поприщахъ, указанныхъ дворянству исторіей и волею Монарховъ“. А именно: чтобы дворяне „сохранили первенствующее мѣсто въ предводительствѣ ратномъ, въ дѣлахъ мѣстнаго управленія и суда, въ безкорыстномъ попеченіи о нуждахъ народа, въ распространеніи примѣромъ своимъ правилъ вѣры и вѣрности и здравыхъ началъ народнаго образованія“. Рескриптъ заключается благимъ внушеніемъ: „Отцы и матери да потщатся воспитывать дѣтей своихъ, будущій родъ Россійскаго Дворянства, въ духѣ вѣры, воспитавшей и утвердившей Россію, въ правилахъ чести, въ простыхъ обычаяхъ жизни, въ неизмѣнной пре-

данности престолу и истинному благу отечества“. Къ мѣрамъ, осуществляющимъ обѣщанное попеченіе, относятся: законъ о ссудахъ подъ соло-векселя землевладѣльцевъ, учрежденіе дворянскаго банка, законъ о выморочныхъ дворянскихъ имѣніяхъ, и пр.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что государственная власть, избѣгая ни на чемъ не основанныхъ пристрастій, ни къ одному классу не выступаетъ въ роли мачихи. Въ своей законодательной дѣятельности она съ полнымъ правомъ могла-бы поставить девизомъ извѣстныя слова Солона: „Народу я далъ надлежащую мѣру чести, выдающимся элементамъ государства воздалъ должное, и, покрывъ всѣ классы населенія огромнымъ щитомъ, я старался изгнать несправедливость“. Быть можетъ, нѣкоторымъ „политикамъ“, врагамъ „сословности“, хотѣлось-бы видѣть страну, обращенною въ агрегатъ совершенно одинаковыхъ и равныхъ „номеровъ“. Но это желаніе—наивная фантазія. Въ этихъ мечтахъ исходнымъ пунктомъ служить отвлеченное представленіе о „людяхъ вообще“, надъ которыми можно производить различные эксперименты.

Между тѣмъ, дѣйствительность не знаетъ „человѣка вообще“, „отвлеченныхъ людей“; въ ней есть лишь настоящія, живыя, историческія личности, обладающія извѣстными свойствами, группирующіяся въ извѣстныя группы, и требующія отъ здоровой политики не фиктивного, а дѣйствительнаго распорядка жизни. Дворянство въ Россіи есть такой-же реальный, историческій и современный фактъ, какъ крестьянство, мѣщанство, и пр. Этотъ фактъ имѣетъ свое точное опредѣленіе въ законѣ. *).

Люди „демократическаго направленія“ возмущаются „дворянской гордостью“, что не мѣшаетъ имъ не рѣдко превозноситься своимъ не-дворянскимъ происхожденіемъ: кому не извѣстна тщеславно-хвастливая фраза Базарова: „Мой дѣдъ землю пахалъ!“ Однако-же, если можно порицать человѣка, гордящагося только тѣмъ, что „его предки спасли Римъ“,

*) Св. Зак. т. IX, ст. 14: „Дворянское названіе есть слѣдствіе, истекающее отъ качества и добродѣтели начальствовавшихъ въ древности мужей, отличавшихъ себя заслугами, тѣмъ, обращая самую службу въ заслугу, приобрѣли потомству своему нарицаніе благородное. Благородными разумѣются всѣ тѣ, кои или отъ предковъ благородныхъ рождены, или монархами симъ достоинствомъ пожалованы“.

то такъ-же точно можно порицать и того, кто вмѣняетъ себѣ въ честь, что „его предки Рима не спасали“. Если можно указывать и предполагать своевольства, насилія и другіе недостатки, соединявшіеся съ „царской службой“ дворянства, то не менѣе возможно указывать и предполагать въ прошедшемъ не-дворянства наслѣдственное отсутствіе заслугъ, талантовъ, низменную жизнь пассивности, нерадѣнія, и т. д. Трудно сказать, въ чемъ заключаются преимущества родословной неизвѣстности. Впрочемъ, русская сословность, въ противоположность сословности западно-европейской, состоитъ не столько въ разности правъ и притязаній, сколько въ разности способовъ служенія всѣмъ одинаково дорогому отечеству и ко всѣмъ одинаково благосклонной верховной власти.

Обезпечивая благосостояніе основныхъ слоевъ кореннаго населенія Россіи, наше законодательство не теряетъ изъ-виду и иноплеменныхъ элементовъ этого населенія. Оно стремится направить обособленность этихъ элементовъ по точно обозначенному руслу, очерчивая послѣднее достаточно прочной линіей

берега (таковы законы 3 мая 1882 года о покупке и арендовании земель евреями, 27 декабря 1884 года о землевладении в западных губерниях, и др.), или, употребляя необходимую энергию, напоминает названным элементам, увлекающимся своеволием партикуляризма, о принадлежности их к общему делу русской империи. Таков, напр., указ 1885 года об употреблении русского языка в присутственных местах прибалтийского края. Конечно, наша политика еще не сказала своего последнего слова в остзейских губерниях, но будущее не трудно угадать, если вдуматься в смысл принимаемых мер, или в прямой и ясный смысл известной дерптской речи (1886 г.) великого князя Владимира Александровича. Нигде нет предположений насилия или притеснения, но — *цѣлое должно вліять на свои части*. Вопрос же о влиянии между племенными группами (как и между людьми) сводится не столько на смутные споры о „культурности“, сколько на вопрос о степени определенности и цельности нравственного характера. Влияет ли личность, которая имеет точно созна-

ния и намеченные жизненные цели, отчетливо выразившиеся черты моральной физиономии и достаточную степень уважения к самой себе. Укоренение и развитие в России этих именно свойств составляет драгоценный результат политики последних лет.

Наиболее рельефно благая нравственная тенденция нашего законодательства выразилась в мерах, направленных к упорядочению общественно-экономической, или денежно-предпринимательской стороны нашей жизни. Всем известно, что Россия уже готова была выступить на путь биржевого безчинства и аферного разврата, грозящего бедою западным государствам. Безконтрольное жонглирование кредитом и „свобода лица“ предаваться авантюрам на счет ближних, уже приготовили удобное болото, на котором западные „носители культуры“ не замедлили начать свои операции. Появился знаменитый доктор философии Струсбергъ, с хорошо выработанным искусством фабрикования акций, и с своим испытанным правилом: „золотой ключь приходится ко всякой двери“. „Талантливый“ европейский учитель, „человекъ

все покупающей“, нашель, къ сожалѣнію, въ Россіи способныхъ учениковъ. На русскую землю дохнуло чудовище „хищенія“, съ его неразлучными спутниками — безумной расточительностью, презрѣніемъ къ честному труду и оподленіемъ правовъ... Первымъ словомъ нынѣшняго царствованія было: „благоразумная экономія *) и преслѣдованіе безчестной наживы“. Рядъ процессовъ тотчасъ-же привелъ на скамью подсудимыхъ длинную вереницу злоумышленниковъ, не взирая на ихъ „званіе, чинъ и состояніе“. Государство подчинило своему контролю многое изъ того, что было предоставлено разгулу свободы частныхъ интересовъ и усмотрѣній (См. мѣры, начиная съ законовъ 1883 года о частныхъ и городскихъ банкахъ, и кончая предположеніями объ охраненіи частныхъ лѣсовъ и объ ограниченіи биржевой спекуляціи). Прекращена раздача должностнымъ лицамъ казенныхъ земель; закономъ 3 декабря 1884 года „о не-

*) Припомнимъ, напр., сказанное 24 мая 1881 года военнымъ министромъ: „Прежде всего Государь Императоръ соизволилъ поставить мнѣ въ непремѣнную обязанность принять безотлагательныя мѣры для уменьшенія военныхъ расходовъ“.

совмѣстительствѣ государственной и частной службы“ уничтожено искушеніе обращать оффиціальное положеніе на служеніе личнымъ пользамъ, и подорвана власть упомянутого выше „золотаго ключа“. Далѣе, іюньскіе законы 1885 года о желѣзныхъ дорогахъ явились чрезвычайно своевременно для сведенія къ надлежащему мѣсту странно-автономнаго „желѣзнодорожнаго государства“. Независимость этого „государства въ государствѣ“, нанося странѣ матеріальный вредъ своей прихотливо-тарифной и кроваво-кукуевской „политикой“, сѣяла сверхъ того нравственную заразу въ русскомъ обществѣ. Администрація высшихъ ранговъ этого удивительнаго „царства“ была подавлена своими огромными „содержаніями“, не оправдываемыми суммою затрачиваемаго труда и не сообразными съ доходами дорогъ, существующихъ казеннымъ подаяніемъ. Отравленная „легкими“ деньгами, эта администрація справедливо возмущала своею наглостью честно трудящихся гражданъ, а бессмысленною расточительностью вносила ядовитую отраву въ общественные нравы. Администрація низшихъ ступеней (состоявшая

нерѣдко изъ сброда никуда не пригодившихся людей) поражала своимъ дикимъ произволомъ и хроническимъ хищеніемъ. Русское общество, утомленное присутствіемъ въ своей средѣ независимой банды этого рода „начальниковъ“ и „служащихъ“, съ ихъ букетомъ „завнашагося плебея“, радостно встрѣтило Желѣзнодорожный уставъ 12 іюня 1885 года и другія соотвѣтственныя мѣры.

Озабоченное устройеніемъ многосложной государственной жизни, наше законодательство не обошло своимъ вниманіемъ дѣла народнаго образованія. Реформа коснулась главнымъ образомъ высшихъ и низшихъ учебныхъ заведеній. Университетскій уставъ 1884 года, оставивъ прежнія, вполнѣ раціональныя правила о выдачѣ дипломовъ на ученые степени, сосредоточилъ административное управленіе университетами въ министерствѣ. Этимъ преобразованіемъ университетская жизнь очищена отъ чуждыхъ примѣсей и приурочена къ своимъ спеціальнымъ, научно-педагогическимъ обязанностямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, изъ этой жизни изгоняется несимпатичная и вредная партійность, а личность каждаго преподава-

теля ограждается отъ гнета склонныхъ къ интригѣ и тираніи фракцій профессорской коллегіи. Что касается вопроса о характерѣ преподаванія и изученія наукъ въ реформированныхъ университетахъ, то этотъ вопросъ разъясняется, между прочимъ, въ изданныхъ министерствомъ „Правилахъ испытаній“ по юридическому факультету. Требования, здѣсь изложенныя, могутъ быть резюмированы слѣдующимъ образомъ. Студентъ, изучающій право, долженъ приобрѣсти фактическія знанія, знаніе права, заключающагося въ нормахъ дѣйствующаго, положительнаго законодательства. Это требованіе, само собою, прекращаетъ дѣйствіе тѣхъ курсовъ прежняго времени, которые ограничивались однимъ „введеніемъ“ въ науку, или представляли собою легкіе *arctus*, „взглядъ и нѣчто“, или излагали только частные вопросы, интересовавшіе въ данное время преподавателя; словомъ, прекращается дѣйствіе тѣхъ курсовъ, въ результатѣ которыхъ получалось знаніе вершковъ и практическая безпомощность окончившихъ образованіе будущихъ дѣятелей. Затѣмъ, студентъ долженъ приобрѣсти „начитанность въ источ-

никах", т. е. коренную основу научной самостоятельности, отличающей воспитанника высшаго учебного заведения от малолѣтняго школьника. Это требованіе также вноситъ благотворное измѣненіе въ прежнее преподаваніе, въ которомъ не рѣдко источники оставались скрытыми, и только, по произволу лектора, вынимались и показывались слушателямъ отдѣльные отрывки. Такое положеніе дѣла отдавало аудиторію въ рабство преподавателю и обуславливало плѣненіе ума учащагося и выучку съ чужаго голоса. Наконецъ, согласно новымъ требованіямъ, университетская жизнь должна стать жизнью труда, а не синекурою для учащихся и не годами страннаго „естественнаго состоянія“ и абсолютной праздности для учащихся. Таковы главнѣйшія требованія, заключающіяся въ названныхъ „Правилахъ“. Нельзя не признать, что въ этихъ „Правилахъ“ замѣчается нѣкоторая спѣшность редакціи, открывшая возможность возраженіямъ, начиная съ глубокихъ и сильныхъ статей г. П. Б. Д. въ газ. „Русь“, и кончая игриво бойкими замѣтками „Юридическаго Вѣстника“. Однако-же, многое изъ того, что подвергалось

возраженіямъ критики, имѣетъ за себя справедливыя и солидныя соображенія. Такъ, напр., въ одномъ изъ параграфовъ „Правилъ“ читаемъ: „Почему-бы въ наукѣ русскаго государственнаго права не представить въ доказательномъ, достойномъ предмета и оживленномъ мыслью ученіи существо русскаго монархическаго начала?“ Конечно, наука въ тѣсномъ смыслѣ слова, наука фактовъ и явленій, ничего не оправдываетъ и не порицаетъ, ничего не превозноситъ и не позоритъ. Наука о фактахъ политическаго общенія не можетъ представлять въ оживленно-сочувственномъ тонѣ ту или другую государственную форму, ибо всѣ эти формы, восточная деспотія и Конвентъ съ его терроромъ, монархія, аристократія и демократія, для нея лишь равно интересныя явленія. Но ученый, какъ живой человѣкъ, не въ силахъ сохранять постоянно безстрастную объективность; изучая факты и излагая результаты своего изученія, онъ обнаруживаетъ свои воззрѣнія и чувства, онъ оцѣниваетъ явленія мѣриломъ своихъ идеаловъ. Можно-ли сказать, что человѣку, раскрывающему социологическіе законы общежитія, вос-

прещается быть гуманнымъ человѣкомъ, вос-
 прещается грустить или радоваться, смотря
 по симпатичности или антипатичности для
 него разсматриваемыхъ фактовъ? Развѣ за-
 прещено натуралисту быть, вмѣстѣ съ тѣмъ,
 и поэтомъ? Не хорошо, когда эти двѣ стороны
 сливаются, когда въ математическія выкладки
 вносятся постороннія, субъективныя, спуты-
 вающія данныя, или когда изучаемыя обще-
 ственныя явленія, во время научныхъ опера-
 цій надъ ними, искажаются пристрастной
 точкой зрѣнія. Но указанные двѣ стороны мо-
 гутъ ужиться, не смѣшиваясь, рядомъ. Если
 же онѣ могутъ существовать совмѣстно, то
 не желательно-ли, чтобы русскій государство-
 вѣдъ соединялъ съ знаніемъ науки и сердце,
 проникнутое русскими политическими идеала-
 ми? Какъ-бы отнеслись французы къ наме-
 камъ съ кафедры о возстановленіи Бонапар-
 товъ? Что-бы почувствовали англичане, услы-
 шавъ изъ устъ человѣка науки, непочтитель-
 ныя выходки противъ ихъ „индійской импе-
 ратрицы?“ Безъ сомнѣнія, они-бы почувство-
 вали себя оскорбленными и отвѣтили живымъ
 протестомъ. Неужели-же дорожить своимъ до-

зволено всѣмъ, исключая русскихъ? „Правила“
 выразили приведенное положеніе въ условной
 формѣ, потому-что сфера убѣжденій и чувствъ
 не допускаетъ прямого тона повелительнаго
 закона. Нельзя приказать, чтобы человѣкъ лю-
 билъ своихъ ближнихъ, чтобы французъ доро-
 жилъ своимъ трехцвѣтнымъ знаменемъ, или
 чтобы нѣмецъ сочувствовалъ могуществу объ-
 единенной Германіи. Однако-же, все это, съ
 полнымъ правомъ и основаніемъ, находятъ
 себѣ мѣсто въ сферѣ человѣческихъ желаній.

Реформа, коснувшаяся низшаго образованія,
 озабочена цѣлью, сдѣлать народную школу,
 не только распространительницей искусства
 читать, писать и считать, но еще и нрав-
 ственной воспитательницей народа. Само со-
 бою разумѣется, чрезвычайно серьезное дѣло
 народнаго воспитанія не возможно бросить на
 произволь случайностямъ. Это дѣло не можетъ
 быть предоставлено трудно контролируемому
 произволу пестрой арміи учителей неизвѣст-
 наго моральнаго ценза. Поэтому, нельзя не
 назвать весьма основательной, по крайней
 мѣрѣ—теоретически, мысль, приурочить рус-
 скую школу къ русской церкви и поставить

народное образованіе на нравственные устои православно-христіанскаго вѣроученія.

Въ заключеніе, скажемъ нѣсколько словъ о законоположеніяхъ, вносящихъ въ наше политическое общеніе извѣстнаго рода „стѣсненія“. Конечно, свобода и просторъ дѣятельности лица находятъ себѣ нѣкоторыя ограниченія въ „Положеніяхъ о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія“ (сентябрь 1881 года), въ нѣкоторыхъ новѣйшихъ цензурныхъ постановленіяхъ („Временныя правила о печати“ 1882 г., списокъ книгъ, запрещенныхъ въ бібліотекахъ, 1884 года), и пр. Однако-же, прежде-чѣмъ выразить сѣтованія на подобныя стѣсненія, слѣдуетъ вдуматься въ ихъ причину, смыслъ и назначеніе. Названныя „правила объ охранѣ“ взываютъ къ энергическому содѣйствію всего населенія, къ тѣсному соединенію всѣхъ сословій съ верховной властью, на пути утвержденія порядка и закона. Уже отсюда явствуетъ, что „стѣснительныя мѣры“ направлены не противъ населенія и не выражаютъ собою какой-либо враждебности власти къ этому населенію, а являются неизбѣж-

нымъ результатомъ борьбы съ современнымъ нашимъ зломъ. Всякое враждебное нападеніе вызываетъ необходимость борьбы, борьба-же не можетъ не отражаться измѣненіями нормальнаго строя текущей жизни. Конечно, стѣснительно не имѣть, напр., возможности выйти изъ угрожаемой непріателемъ крѣпости позднѣе указаннаго часа, стѣснительно стоять съ оружіемъ въ ночномъ караулѣ, вмѣсто того, чтобы мирно отдыхать въ своей постели. Но потому-то врагъ есть врагъ, и противъ него законенъ гнѣвъ. Такимъ образомъ, прежде чѣмъ жаловаться на упомянутыя „стѣсненія“, нужно уяснить въ глубинѣ своего ума и сердца всю массу бѣдъ, которыми грозитъ государству зло, вызывающее насъ на борьбу. Можемъ-ли мы покориться ничтожной группѣ лицъ, скудныхъ умомъ и жесткихъ сердцемъ? Можемъ-ли мы отступить передъ малосмысленнымъ фанатизмомъ и злобствующею безталантностью? Можемъ-ли мы допустить попытки обманнаго разжиганія братоубійственной вражды между элементами русскаго населенія? Можемъ-ли мы терпѣть людей, дышащихъ пугачовскими идеалами и откровенно предлагающихъ намъ

перспективу анархii, т. е. хаоса крови и огня? Можемъ-ли мы оставаться покойными, видя стремленiя парализировать систему, составляющую единственно-возможную въ настоящее время организацію нашего громаднаго государственнаго тѣла? Можемъ-ли мы смотрѣть, сложа руки, на покушенiя, направляемыя противъ сердца нашего отечества и символа величiя нашей родины? Если не можемъ, — значитъ намъ необходимо соединить свои силы, въ видахъ самозащиты и огражденiя коренныхъ условiй нашего политическаго существованiя. Пожертвованiе личными, меньшими благами — благамъ бѣльшимъ, общимъ, составляетъ первое слово политической мудрости. Едва-ли нужно учить этой мудрости русскихъ гражданъ. Россiя, хранящая съ любовью, изъ поколѣнiя въ поколѣнiе, память о подвигѣ Сусанина, доказала свою способность на героизмъ жертвованiя личной выгодой общему дѣлу во всѣ эпохи смуты и испытанiя.

Что касается „цензурныхъ стѣсненiй“, то порицанiе ихъ весьма часто обусловливается вѣрой въ благодѣтельность безусловной „сво-

боды слова“. Но представляетъ-ли собою „слово“ или печать такое ничтожно-слабое орудiе, которымъ, при всемъ желанiи, нельзя повредить политическому общежитiю? Вотъ вопросъ, который оставляется обыкновенно въ сторонѣ, и который однако-же долженъ быть рѣшенъ отрицательно. Печать, не сомнѣнно, есть влiятельное орудiе; имъ можно приносить пользу, но можно и обазывать вредъ. Какимъ-же образомъ должно относиться къ этой, далеко не индифферентной, силѣ? Припомнимъ сказанное поэтому поводу старымъ, весьма свободолюбивымъ мыслителемъ, Спинозой. *) Если кто-нибудь, — говоритъ философъ, — выставляетъ на видъ неудобства извѣстнаго закона, если этотъ кто-нибудь утверждаетъ, что законъ требуетъ измѣненiя, и, не идя противъ него дѣломъ, заявляетъ словомъ свое мнѣнiе государству (которому одному принадлежитъ власть издавать и измѣнять законы), то этимъ онъ оказываетъ государству услугу, какъ честный гражданинъ. Напротивъ, тотъ, кто взводитъ на государственную власть обвиненiя, съ цѣлью

*) См. гл. XX Tractatus theologico-politicus, гл. 3 и 4 Tractatus politicus.

возбудить противъ нея неудовольствіе въ народѣ, кто старается ниспровергнуть законъ самовольно, противъ воли правительства, — тотъ уже есть возмутитель и мятежникъ. Если-бы допустить каждую отдѣльную личность распоряжаться дѣломъ установленія права и порядка, тогда всякій, являясь такъ-сказать судьей самого себя, постарался-бы подладить законы къ своимъ поступкамъ и склонностямъ, такъ-что неизбежно воцарился-бы произволъ. Гражданинъ долженъ повиноваться опредѣленію государства, хотя-бы ему казалось, что это опредѣленіе не вѣрно. Когда человѣкъ, руководимый разумомъ, дѣлаетъ по повелѣнію государства что-нибудь такое, что онъ считаетъ неразумнымъ, то этотъ вредъ будетъ вознагражденъ добромъ, вытекающимъ для него вообще изъ существованія государственнаго порядка. Всякую попытку лица захватить власть въ свою пользу, Спиноза считаетъ преступленіемъ. Имѣется-ли въ виду при этомъ благая цѣль или гибель государства, выгода или вредъ, — фактъ остается всегда преступнымъ. Солдаты, не устоявшій на своемъ посту, солдаты, бросившіяся на врага

безъ приказа вождя, осуждается, хотя-бы онъ совершилъ свой самовольный поступокъ съ самыми прекрасными намѣреніями и результатами. Нельзя мѣнять, на случайную выгоду произвольной индивидуальной удачи, выгоду вѣрную, которая вытекаетъ изъ дѣйствій по общему соглашенію, изъ дѣйствій верховной власти.

Можно-ли утверждать, будто русскій гражданинъ лишенъ возможности заявить государству свои мысли и мнѣнія, когда передъ нами спеціальныя статьи дѣйствующаго права, устанавлиющія образъ участія каждого гражданина въ такъ называемой „иниціативѣ“ закона; когда при разработкѣ важныхъ вопросовъ приглашаются представители разныхъ слоевъ общества; когда прессѣ не только не пресѣкается вовсе доступъ къ обсужденію распорядка правовой жизни, но, напротивъ, не рѣдко она призывается къ содѣйствію *).

*) Ср. напр., Правит. сообщеніе (Пр. Вѣсти. 12 апрѣля 1882 г.): „Во всѣхъ вопросахъ казеннаго хозяйства, гдѣ затрогиваются крупныя матеріальныя интересы, свободное и спокойное ихъ обсужденіе печатью поможетъ обнаруженію злоупотребленій и предупредитъ ихъ существованіе или происходящій отъ нихъ вредъ“.

Къ сожалѣнію, солидная, „свободная и спокойная“ критика не частое явленіе въ нашей легкой, быстрописущей повременной литературѣ. Чаше приходилось имѣть дѣло съ задорными вылазками и инсинуирующими намеками, въ которыхъ выступали не продуманныя тенденціи неопредѣленной свободы, малосознательный лепетъ о безформенномъ равенствѣ, и пр. А все это, вольно или невольно, обращалось въ орудіе зависти низшихъ къ высшимъ и аппетита менѣе состоятельныхъ къ достоянію болѣе состоятельныхъ. Защитники безграничной свободы слова говорятъ, будто „рѣзкость языка“, направленіе и тонъ изложенія мыслей, составляютъ область условнаго, относительнаго, и не могутъ быть поставляемы въ вину писателю. Конечно, для разума важны одни аргументы, но характеръ изложенія имѣетъ значеніе по своему вліянію на чувства. А такъ-какъ практическая жизнь управляется не столько силлогизмами ума, сколько импульсами чувства, то отсюда понятно, почему „языкъ“ или „тонъ“ чело-вѣческой рѣчи нельзя считать безразличнымъ. Въ соч. Леніана („La Satire en France“)

есть хорошія замѣчанія о тонѣ, „qui doit pousser à la révolte“, и о двусмысленныхъ разсужденіяхъ, „qui ressemblent aux prétendues harangues pacifiques du cardinal Retz pendant la Fronde: le peuple courrait aux armes en sortant de les écouter“. Указанные выше, и, мы убѣждены, временные недостатки духовнаго строя нашего общежитія, побудили наше законодательство временно усилить строгость цензурныхъ ограниченій; однако-же, само собою разумѣется, вся эта строгость и въ настоящемъ ея видѣ есть ничто, въ сравненіи съ мѣрами, напр., республиканской Франціи 93-го и слѣдующихъ годовъ, когда въ новыхъ изданіяхъ произведеній древнихъ классиковъ измѣнялись или вычеркивались всѣ мѣста, касающіяся монархіи и царской власти.

Оканчивая разсмотрѣніе нравственныхъ тенденцій новой политики, мы остановимся еще разъ на важнѣйшей. Государственная власть стремится прекратить состояніе тягостной и вредной неопредѣленности, въ которой все возбуждаетъ сомнѣніе и недоумѣніе. Новая политика разгоняетъ туманъ, въ которомъ трудно различить, гдѣ центръ разбитаго на

части государственнаго авторитета. Новая политика разсѣиваетъ сумракъ, въ которомъ человѣку становилось не легко отвѣтить себѣ съ увѣренностью даже на такіе вопросы: Не позорить-ли себя служитель алтаря исполненіемъ своихъ обязанностей? Не безчестно-ли быть русскимъ дворяниномъ? Не есть-ли собственность, на самомъ дѣлѣ, — „воровство“?.. Смутныя, расплывшіяся черты нашего политическаго существованія начинаютъ слагаться въ опредѣленный образъ нравственной физиономіи.

ОПЕЧАТКИ:

<i>Стран.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Слѣдуетъ.</i>
17	8	individue	individu
44	9	опиралась	опиралось
73	19	proffession	profession
84	23	все	всего
91	16	инстиктивно	инстинктивно
110	18	Савонароллы	Савонаролла
112	23	что	то
160	24	абсолютную	абсолютную
199	16	каждый	каждой

Сочиненія того-же автора:

Спиноза и его ученіе о правѣ, 1877 г., ц. 1 р.

Исторія идеи естественнаго права. Часть первая.

„Естественное право“ у грековъ и римлянъ.

1881 г., ц. 2 р.

Исторія идеи естественнаго права. Часть вторая.

Средніе вѣка. 1885 г., ц. 1 р. 50 к.

Іеремія Бентамъ, его отношеніе къ ученію о

естественномъ правѣ. 1886 г., ц. 1 р. 25 к.
